ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ

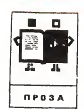


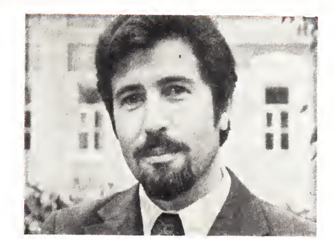
*С 58-й годовщиной
Великого Октября,
дорогие наши читатели!
Встретим XXV съезд КПСС
ударным трудом
и отличной учебой!*

Журнал
основан
в
1955
году

11 [246]
НОЯБРЬ
1975

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА





Евгений
БОРИСОВ

У КОСТРА

РАССКАЗ

Их было трое. Как-то собрались у одного, у Павла Ивановича, отметить День Победы. Прикололи, как водится, ордена и медали на пиджаки, жен своих тоже пригласили, и все было хорошо за праздничным столом. Как и полагается в праздники, выпили. Песни запели. Военные, из тех времен. Про темную ночь, про синенький скромный платочек... Правда, тут больше жены старались, а они все помалкивали. Слушали да вылезали часто из-за стола на кухню покурить. Но и там между затяжками тоже молчали. Не оттого, конечно, что не о чем было говорить или вспомнить было нечего — еще сколько было-то! — но тут такое дело...

Они понимали друг друга, потому что молчали-то об одном.

Были они в том возрасте, когда у людей, даже вовсе ничем не похожих друг на друга, в глаза скорее бросается не это их несходство, не цвет волос, скажем, не рост и не походка, а нечто другое, что сделало их до родственной близости одинаковыми,— прожитые ими годы. Но и то верно — не в женихи выбирать. Теперь только разве в президиумы, а туда, как известно, не за красивые глаза, не за осанистость сажают. Иначе бы одному из них, Павлу Ивановичу, и не сиживать за красными столами: с хромой ногой да с палкой — не лучшее украшение.

А его-то и выбирали. И в тот день, о котором речь, на городском торжественном собрании он как раз в президиуме блистал, а два друга его, беловолосый, как лунь, Илья Васильевич и резковатый в движениях молчун Владимир Сергеевич,— эти из зала, из третьего ряда на него глядели, гордились им и невольно завидовали.

Потом уж и в гости пошли.

Во время очередного перекура, когда жены, оставшись в комнате, в какой уж раз запели про синенький скромный платочек, Павел Иванович вдруг нарушил молчание.

— А время-то идет,— сказал он задумчиво.— Может, все-таки стóит, пока не поздно? — Он вопросительно взглянул на товарищей.— Собраться бы да махнуть, а? Теперь и катер туда ходит, я узнавал.

— В шесть ноль-ноль,— тут же сообщил немногословный Владимир Сергеевич.

— Четыре часа всего ходу,— уточнил третий.— Завтра бы и махнуть. Чего зря откладывать?..

...Речной катер, почти пустой, добрался до места, где не было никакого причала, и потому он приткнулся носом к берегу, и мальчишка-матрос, попыхивая папироской и дивясь прихоти странных пассажиров, пожелавших сойти на нелюдимом берегу, сбросил для них жиденькие сходни, и трое в резиновых сапогах и стеганках сошли на песок.

Шли они долго, с передышками, потому что трудно было идти по песку.

Рисунок Марины ПИНКИСЕВИЧ.

Павел Иванович со своим костылем быстро умаялся, но виду не подавал — какая-то сила влекла их все дальше и дальше. Так прошагали они километров пять. Но вот на излучине, там, где река заребрилась каменистым порогом, один из них остановился, стал оглядываться.

— Сдается мне,— сказал он,— что здесь... Здесь надо искать, это место...

— Похоже, что так,— согласился второй,— очень даже похоже. И перекат этот зубастый... Он мне и теперь еще снится. Только чего тут теперь искать, мыто все перемыто.

— Сколько воды утекло...— сказал третий.

Все согласились: действительно, много ль отыщешь на песке через двадцать-то лет?..

Но они еще долго ходили по берегу, месили ногами песок и молчали. Потом поднялись к лесу и там тоже бродили, приглядываясь к каждому деревцу, под каждый кустик заглянуть старались и словно бы спрашивали у них: «А вы-то нас помните?» Павел Иванович все шуровал палкой в пожухлой траве, водил ею, точно миноискателем. Но ничего, никаких следов не нашли.

Опять спустились к реке, облюбовали местечко — между водой и лесом, без ветерка,— разложили свой первый костер. И порешили: здесь, на этой земле, возле быстрого волжского переката, где много лет назад, обжигаемые студеной октябрьской водой и фашистским свинцом, летящим из прибрежной засады, их отряд отходил на левый берег,— здесь отныне собираться им, бывшим партизанам этого отряда. Так и было до поры. И пять и шесть лет подряд. Они приезжали сюда в один и тот же день, девятого мая, и зажигали костер.

...Три года назад, весной, перед самым ледоходом, умер Владимир Сергеевич. Обычно он первый оповещал их о ледоходе, потому что жил на набережной, окнами на Волгу. Он звонил по телефону сначала Павлу Ивановичу, затем Илье Васильевичу, докладывал:

— В восемь ноль-ноль в районе нового моста началась подвижка.— И кричал радостно: — Тронулась, родимая! Считай, что дожили. Теперь уж скоро!

От этого дня они и начинали считать: сколько им осталось ждать поездки.

И вот они потеряли наблюдателя.

Неделя, кажется, прошла после похорон... К Павлу Ивановичу вдова покойного заглянула. Принесла удочку трехколенную, баночку из-под леденцов с крючками и прочими рыбацкими принадлежностями и котелок — все, что Владимир Сергеевич возил с собой «по предписанию».

— Может, сгодится,— сказала она сквозь слезы.— Не выбрасывать же.— Уже в дверях спросила: — Как нынче-то, без моего... Поедете или уже все?

— Как это все? — Павел Иванович даже возмутился.— Почему это... Наоборот. Теперь и за него, значит... Иначе и быть не может.

— И ладно,—отозвалась вдова,— и хорошо. Тогда у меня просьба... Веточку какую, может, отломите или кустик какой... К нему бы на могилку...

И опять той весной на берегу Волги горел костер. Только теперь у огня сидели двое. Два человека, не рыбаки и не охотники, глядели молча на огонь, а рядом, на клеенчатой скатерочке, стояла початая бутылка; они уже выпили малость — «за тех и за него, за Сергеича...»,— а что осталось в кружках, выплеснули в костер и не притрагивались больше к бутылке, забыли про нее; время от времени один из них поднимался, подбрасывал дровишек в огонь, и тогда притухший было костер оживал снова, и они опять слышали жаркое его дыхание, и им казалось, что там, в огненной глубине его, в эти минуты идет какая-то непостижимо трудная работа, от которой и рождаются на свет тысячи раскаленных добела искр. Ощущая странную причастность к этой работе огня, они неотрывно и долго следили за метущимися к небу искрами, старались поймать тот неизбежный, неуловимый миг исчезновения их и не могли уследить, потому что за тысячами пропадающих во тьме искр взметались еще тысячи и было в этом движении что-то неистребимое, вечное.

В такие минуты, чувствуя тайное родство с огнем, они, торжественно-молчаливые, думали о себе... Им казалось, что и сами они, простые смертные, два персональных пенсионера, деды своих внуков, члены разных советов и многих общественных комиссий, кавалеры боевых орденов, два больных, доживающих век старика, ведущих свой род от безлошадных тверских крестьян, что оба они если и не вечны сами по себе, в своей плоти и крови, то в чем-то в самом главном у них тоже есть продолжение, есть что-то такое, не богом, конечно, и не другой потусторонней силой данное, а собственной их жизнью заслуженное.

Они не говорили о том, что же такое в них — это главное. Должно быть, потому, что одинаково понимали и чувствовали его и в себе и в других, в своих сверстниках, поэтому и не сомневались, что ничего главнее, чем пережитое, выстраданное и отвоеванное ими, и быть не может. Столько думано-передумано было возле того костра...

Ночью сквозь тягостную бессонницу, ненадолго заглушаемую болезненно чутким сном, Павлу Ивановичу почудилось, будто на Волге тронулся лед. И это было странно. Странность была не в том, что такого быть не могло — могло, самое время! — удивительно было другое: вот так лежать в постели и в какой-то миг до полной уверенности, до ясного видения и до отчетливой слышимости ощущать то, что творится не где-то рядом, не у соседей за стеной, не во дворе под окном, а на большом расстоянии, за кварталами высоких домов, пролетами улиц и переулков; но именно так и было: он лежал в постели и чувствовал далекое, рождающееся в ночи движение, и слух его цеплялся за эти, еле различимые некомнатные звуки.

Сначала что-то рокотало глухо и сдержанно, будто больной, превозмогая великую боль, вздыхал, ворочался, постанывая. Прислушиваясь к звукам, Павел Иванович и сам уже страдал чужой болью и думал о происходящем, как о чем-то живом, почти человеческом.

Он понимал, откуда пришла к нему эта ночная острота, болезненная чуткость души и слуха и отчего все происходящее там, на апрельской реке, представилось ощутимым почти страданием.

Вчера на «Скорой» увезли в больницу второго друга, Илью Васильевича. Врачи сказали: инфаркт.

Накануне, два дня назад, они были с ним на заседании совета бывших партизан, говорили об очередном партизанском слете — где и когда его проводить,— и Илья Васильевич, сидевший рядом с Павлом Ивановичем, шепнул ему:

— А хорошо бы, Иваныч, собрать всех партизан на наш костерок. Место — лучше некуда. Как считаешь?

— Подумать надо, — ответил Павел Иванович, — обмозговать.

Потом они шли домой и обмозговывали. Дело, понятно, было заманчивое, но смущало одно: ведь на карте области немало других мест, где сражались партизаны, их же земляки, и, конечно, встанет вопрос, а почему именно здесь, а не в поселке Пено, скажем, и не в Андреаполе?.. И не получится ли так, будто они сами о себе напоминают, о своих особых заслугах? А какие они особенные? Воевали, как все... И решили: пусть так и будет — они опять соберутся вдвоем, поедут к себе и запалят костер до неба...

И вот на́ тебе — инфаркт.

Было о чем подумать Павлу Ивановичу в эту ночь.

Размышлял он и о том, много ли у него самого-то осталось их, этих ледоходов? И остались ли? Может, этот, нынешний, и есть тот самый?..

Три дня и три ночи даже врачи не знали, что будет завтра. Но прошло еще время, и, кажется, прояснилось: из онемелых губ больного родились невнятные, еле слышные слова... Кто-то другой, услыхав их, вряд ли что и понял, подумал бы — бредит человек, но у постели больного сидели жена его и Павел Иванович. Они услышали и поняли.

— Как... костер... наш...— бормотал больной.— Пусть... костер...

— Ясное дело, о чем речь,— торопливым шепотом откликнулся Павел Иванович.— Ты уж лежи знай, не рыпайся, все будет как надо. Еще и вместе посидим, погреемся у костерка...

Для себя же он твердо решил: пусть дождь, пусть снег, пусть что угодно, а он поедет! Один поедет, за них за всех! Даже рюкзак свой походный приготовил, и билет на катер уже лежал в кармане, и заветная четвертинка была куплена — на лучший случай, если «мотор» не забарахлит...

А «мотор» и забарахлил... Утром, как ни бодрился перед женой, не спрятал своей тревоги.

— И не выдумывай.— Решительная, она встала перед ним у дверей.— Наездились, хватит! Туда же захотел, следом...

С рюкзаком, перекинутым через плечо, он подошел к ней и сказал тихо, но так, что продолжать разговор не имело смысла:

— Не надо.

Она поняла и отступила.

— Там я носки тебе положила в рюкзак,— тоже очень тихо сказала она,— шерстяные, в правом кармане. Будет зябко, поддень под портянки...

Быстроходная «Заря», курсирующая теперь по этому маршруту, укоротила рейс почти на час, и остановка приблизилась к тому месту километра на три, так что идти оставалось всего ничего. Павел Иванович, как слустился на знакомый бережок, так сразу и повеселел, почувствовал: отпустило в груди, дышать стало легче, вольнее. А тут и дождичек, напугавший его с утра, приутих, а скоро и совсем перестал, и где-то сквозь легкие, летучие облака уже проклюнулось майское солнышко. Разгуливался денек.

Павел Иванович прибавил шагу. Ему не терпелось поскорее добраться до места, скинуть рюкзак, подтащить дров к кострищу да развести огонь. Как хорошо, просто здорово придумали они однажды — собирать дровишки про запас. Словно чувствовали, что кому-то из них они ох как кстати окажутся. Так и вышло: много ли он один насобирал бы теперь по лесу?..

Павел Иванович так разошелся, так размахался своим костылем, что не заметил, как миновал последний, против белого бакена поворот, за которым сразу должно было открыться то место, уже издали серебрящееся порожистым перекатом, а когда увидел его, тут же замер, остановился как вкопанный... Ноги, и без того подуставшие, словно налились свинцом и как будто вросли в вязкий приречный лесок. Лоб покрылся холодной испариной, и опять, как утром дома, сдавило грудь...

Там, на знакомой излучине, где десять лет кряду и в дождь и в снег, в один и тот же день они снимали с плеч свои рюкзаки, на том самом месте, которое они по неписаному праву первооткрывателей считали своим, горел костер. Он еще только разгорался, и было в нем больше дыму, чем огня, но двое уже возились, хозяйничали возле него. А рядом — как он сразу-то не заметил? — поближе к лесу, стояла голубая, как лоскуток весеннего неба, палатка.

«Да нет,— попробовал успокоить себя Павел Иванович,— быть такого не может, это какая-то ошибка. Тут что-то не так...»

Но он понимал, что никакой ошибки нет: костер горел на том самом месте... Конечно, и дровишки припасенные пошли в ход, и все, все теперь полетит кувырком...

Жаркая обида от совершающейся, а скорее, уже свершившейся несправедливости обожгла ему лицо. «Ну, нет,— сказал он себе,— мы еще посмотрим, мы еще разберемся, что к чему... Развели, понимаешь, другого места не нашли... А по какому такому праву?..»

И еще крепче сжав рукой костыль, зашагал прямиком к костру.

Сидевшие у костра — один, пристаривший себя бороденкой, другой в очках, похоже, постарше первого,— тоже заметили его. Они возились у огня, то и дело поглядывая на хромого путника. Вдвоем, да с расчудесным, поблескивающим на солнце самоваром, да с удочками, чутко нацелившимися у воды на счастливый улов, и с веселой палаткой, им было, наверное, хорошо на этом вольном берегу, под пригревающим солнышком. Гостей они не ждали.

А Павел Иванович уже подходил к костру.

— День добрый,— сказал он глухо и неприветливо, останавливаясь шагах в трех от огня и враждебно косясь на самовар, над которым уже струился и плавился сизоватый дымок.

— Привет, привет! — торопливой скороговоркой, как бы между прочим, откликнулся бородач. На подошедшего он даже не взглянул — шуровал палкой в костре, зачем-то распалял его.

Из-за костра от палатки сверкнули очки второго. Он поинтересовался:

— Как тут с рыбалкой, отец? Вы, небось, здешний... Где тут они, заповедные?

Заповедные... У Павла Ивановича аж дух перехватило, захотелось сказать про эти самые, заповедные, чтобы знали двое молодчиков: не одной удачливой рыбалкой да охотой определяются заповедные места, есть кое-что другое... Но сдержался, сказал, как бы примериваясь к разговору:

— Ишь, как у вас, вынь да положь заповедное. А ты бы и поискал. Тут вон их сколько, у каждого свое...

— А это чем плохо? — поднявшись над костром, бородач широко развел руками.— Красота, кто понимает.

— Вот-вот, я и вижу... Вижу, какие вы охотнички до красоты.— Павел Иванович снова воззрился на самовар.— Съехались, будто на ярмарку... Цыган вам еще не хватает.

— Не нравится,— снова подзадорил бородач,— так мы и не настаиваем. Извините, как говорится, за компанию. А насчет цыган мы подумаем.



Он хохотнул и снова обратился к костру, как бы забыл про Павла Ивановича. Но тут очкарик, до поры не вмешивавшийся в разговор и теперь, похоже, смекнувший что-то, спросил у Павла Ивановича:

— Чего негодуешь-то, отец? Или место твое заняли? Так бы и говорил. Потеснились бы. В тесноте, сам понимаешь...

Бородач с явным неодобрением покосился на очкарика и снова съязвил:

— Долго спишь, батя. Свято место пусто не бывает. Да и не написано нигде, чье оно...

— Написано, еще как написано! — вдруг сорвался на крик Павел Иванович и даже сам испугался, так неожиданно это вышло у него. Закончил, еле сдерживаясь: — Да не всякий, понимаешь, читать это умеет... Не каждому дано. Привыкли, понимаешь...

Двое полувопросительно, полуудивленно переглянулись.

— Привыкли, понимаешь, на готовеньком... Вот и красоту им, видишь ли, подавай. А чего она стоит, вот эта красота?.. — Голос Павла Ивановича накалился и окреп.— Знаете ли вы, чего она стоит? А какую расписочку за нее люди здесь оставили? Знаете? Кровью писанная расписочка...

Теперь он уже не стоял на месте; прихрамывая, он топтался перед костром, и костыль его, зажатый в руке, то и дело угрожающе взлетал над огнем, над головами смутившихся парней. Волнуясь и сбиваясь на крик, он продолжал что-то говорить им, а они, пораженные и растерянные, молчали. Наконец бородач не выдержал.

— Будет, остынь, батя,— перебил он. Обратился к очкарику.— Я что-то не соображу, с чего это он подхватился...

— Как же, где уж вам! — Павла Ивановича забрало окончательно.— Вам бы чего другого сообразить — на троих или как там у вас, — а это где уж. Явились, понимаешь, на готовенькое, распалили костер...

— Да с чего сыр-бор-то, отец? Растолкуй нам, неграмотным,— на этот раз вступил очкарик,— объясни толком, может, мы и поймем...

— Да брось ты с ним связываться,— теряя терпение, сказал бородач,— не видишь, что ли? Мужику вожжа под хвост попала.— Разбежавшийся от реки ветер влетел в костер, бросил в лицо бородатого едкого дыму, тот засверлил кулаками глаза.— Ты, батя, зануда, видать, порядочный. Хуже дымного костра. Этот хоть дымит да греет, а от тебя — один дым...

Очкарик поглядел на него из-под очков:

— Ты сам-то не заводись... Мало ли что с человеком...

— А чего он, в самом деле? Надо было тащиться сюда из города, себе и другим нервы портить. Сидел бы со своей старухой у телевизора, глядел бы парад...

Он пошел от костра к палатке, с досадой махнул рукой: отдохнули, мол, порыбачили... Но Павел Иванович успел-таки крикнуть ему вдогонку:

— Ты старуху мою не тронь, нос еще не дорос!.. Отрастили, понимаешь, бороды и занервничали. Больно нервные стали, не рано ли?

— Так его, отец! — усмехаясь и явно склоняя Павла Ивановича к примирению, сказал очкарик. — Нечего с ним церемониться, сунем вот бородой в костер, и дело с концом. Жена еще спасибо скажет.

— Вот, вот,— отозвался от палатки бородач,— поговори с ним, Сань, ты умеешь... Выясни, что такое хорошо и что такое плохо, а то у нас, видишь ли, все не так... Дрова не жги, самовар не разводи... Теперь вот и до бороды добрался.

— Да жгите, палите все подчистую! — снова выкрикнул Павел Иванович, но выкрикнул как-то устало, без надежды кому-то что-то доказать.— Думаете, мне дров жалко, не в них дело... Я вот понять хочу, откуда и кто вы такие и ради чего вы все это... Вот здесь вы ради чего? И вы, и костер ваш, и самовар этот... Для удовольствия или еще как? Что вы за люди такие, нынешние?

Теперь и Саня очень серьезно и внимательно поглядел на Павла Ивановича, будто впервые увидел его, и даже в затылке почесал. Признался:

— А и верно, зачем мы?.. Приехали вот, а не знаем...— Он глядел на Павла Ивановича, будто ждал, что тот поможет ему разобраться в непонятном этом деле.

Но и Павел Иванович, обезоруженный откровенным признанием очкастого, не нашел что сказать.

— Я же говорю, без пол-литры не разберешься.— Это бородач вернулся к костру с рюкзаком.— Еще и биографию рассказать придется... Чем занимались до семнадцатого года...

И тут, будто кстати, произошло нечто такое, что наконец пригасило то затухающую, то вновь готовую разгореться перепалку... Что-то запыхтело, заклокотало, зафыркало за костром, и Саня, сверкнув очками, ошалело метнулся туда, закричал заполошно:

— Держи его!

Павел Иванович не сразу сообразил, кого же он кинулся догонять, потом догадался — самовар... Он даже усмехнуться себе позволил, подумал при этом: «Ишь, как разыграл, стервец! Как артист настоящий!»

А тут еще и бородач выкинул номер... Тоже сорвался с места, как ошпаренный. Одолев в два лосиных прыжка расстояние от костра до реки, он уже стоял по колено в воде и, замерев в нескладной, смешной позе, протягивал руку к одной из лесок, на которой суматошно подпрыгивал и вызванивал колокольчик.

— Да дергай, чего ты! — подал Саня голос от самовара.

Бородач что есть мочи рванул леску и стал торопливо перебирать руками, вытаскивая ее из воды.

— Не суетись, спокойней! — охолаживал его очкарик.— И вéрхом старайся вести, дай ей заглотнуть кислороду.

А в воде уже трепыхалось что-то, какая-то сила, невидимая еще, упорствовала отчаянно, и, поддаваясь этой борьбе, рыбак, словно лунатик, шагнул глубже, навстречу своей удаче, черпнул голенищем воды...

— Подсачок бы взял, уйдет ведь!

Саня нервничал на берегу.

Но тут над водой, ощерившись колючим оперением, затрепыхался пучеглазый, осклизлый ерш размером чуть больше указательного пальца...

За спиной Павла Ивановича раздался хохот. Оглянулся. Саня, как стоял у самовара, так и повалился рядом, ничком на траву, и теперь трясся в безудержном смехе, постанывал. И Павел Иванович тоже не сдержался: смеясь, глядел на незадачливого рыбака.

— Ну, паразит, ну, зараза! — Мокрый выше колен, конфузясь в ухмылке, бородач вылезал из воды.— А зазвонил-то как! Как большой. Ну, надо же, нахалюга! Всю обедню испортил!

Саня на берегу досмеивался. А Павел Иванович тем временем скинул с плеча рюкзак, неловко присел на него: решил закурить... Он не знал еще, что будет делать дальше, но что-то подсказывало ему: нет, не поделить им этого костра, не для него горит он, а потому и не будет ему ни света, ни тепла от него. Но почему-то медлил, для чего-то удерживал себя возле костра... вот и закурить решил, хотя курить-то ему не хотелось.

Он достал из пачки примятую папиросу, повертел ее в пальцах, стал искать по карманам спички, но почему-то не нашел... В первую минуту это обстоятельство не смутило его — вот он, огонь-то, рядом... Не свой, но прикурить можно. Пригнувшись к костру, он отыскал раскаленный до белого свечения уголек, обжигая пальцы, выхватил его из костра, побросал с ладони на ладонь, потом ткнул в уголек папиросой, стал раскуривать... И вдруг словно ожегся: спички... он искал их и не нашел, потому что... Память выхватила недавнее, из вчерашнего дня: он был на кухне, отложил два коробка, хотел завернуть их в целлофановый мешочек — для сохранности, а мешочка под рукой не оказалось, и он оставил спички на столе.

Знакомый ноющий холодок снова проник в грудь, под сердце, и голова пошла кругом, и поползла земля из-под ног, зарябило, заполыхало жарким пламенем в глазах... Рука машинально потянулась к земле, за костылем, ища в нем привычную опору. Горячее дыхание костра касалось его лица и рук, и глаза, остановившиеся в недоумении, смотрели прямо на огонь, но он не видел и не чувствовал его. Другое виделось ему: вот он один на этом до последнего, кажется, камешка, до последней головешки знакомом берегу, стоит с рюкзаком за плечами, а в рюкзаке у него есть все и даже четвертинка, будь она неладна, но нет какой-то малости, сущего пустяка — обыкновенного коробка спичек, цена которому всего одна копейка. Но как бы много он отдал теперь за него!

И все же как будто было какое-то обещание, что-то успокаивало Павла Ивановича, сулило ему другой, вполне благополучный исход, и малая эта надежда, не осмысленная еще, отогнала неприятный, сквозящий холодок от сердца, вернула его к реальности. «Фу ты, дьявол,— будто освобождаясь от наваждения, подумал он,— чего это я запаниковал-то? Ничего же не случилось еще... Забыл спички, старый дурень, только и всего. Так что ж теперь волком выть, что ли? Не один же я здесь, не на Северном полюсе... Прикурить вот сумел, и костер, надо будет, свой разведу. Жалко огня им, что ли? Наберу головешек или угольков...»

Теперь он совсем успокоился, вспомнил про папиросу, затянулся без удовольствия и отстрельнул ее щелчком в костер. И тут только заметил: двое, хозяева костра, подтащив поближе к огню самовар, уже сидели возле него, и кружки с дымящимся чайком стояли перед ними на скатерочке; они о чем-то перешептывались, поглядывали на Павла Ивановича... Но вот Саня сказал:

— Отец, ты, это... Вынимай давай свою походную, иди к нашему самовару, он у нас, небось, тоже заслуженный, с медалями... Тяпнем по кружечке, на мировую, так сказать, пока на ушицу не наловили...

Посторонне, как бы не признавая еще за своего, а только приглядываясь, Павел Иванович поглядел на «заслуженный» самовар и, чувствуя до тошноты неприятную горечь во рту от двух папиросных затяжек, подумал, как о желанном, о глотке душистого чая и, кажется, уже сделал какое-то неуловимое, ему одному понятное движение — за кружкой, к своему рюкзаку,— но что-то удержало, вернее, подтолкнуло его... Он встал, опираясь на костыль, и, припадая на правую ногу, пошел прочь от костра. Куда, зачем?

— Батя,— крикнул вдогонку бородач,— а мешок-то, мешок свой забыл!

— Кончай, Геныч,— осуждающе сказал Саня.— Оставь человека. Рюкзак здесь, значит, вернется.

А Павел Иванович все дальше и дальше уходил от костра, от реки. Он поднимался к лесу.

К костру он вернулся уже под вечер, когда солнце скатилось к реке. В лесу было сумрачно и стыло, от земли, из лесных овражин с залежалым, еще не стаявшим снегом тянуло погребным холодом. Ноги у Павла Ивановича стали замерзать в резиновых сапогах, и все в нем словно бы поостыло, повыветрилось на весеннем ветерке, и одного теперь хотелось — тепла.

Нет, было и еще какое-то желание: услышать рядом человеческий голос, почувствовать возле себя тепло чьей-то жизни, пусть незнакомой, случайно встреченной, пусть непонятной, но жизни... И чтобы кто-то участливо слушал его, и сам он, благодарный за участие, смог бы тем же ответить...

Бродя по лесу, Павел Иванович о многом успел подумать. Он вспомнил, как однажды, уже вдвоем с Ильей Васильевичем, они заговорили у костра... Прежде ни к чему было: приезжали сюда втроем и никого, казалось, не нужно им было. Те, ради кого они приезжали, уже никогда не смогут быть с ними, потому что оттуда, куда ушли они, не возвращаются... Октябрьской ночью сорок первого года их унесла и скрыла студеная волжская вода. Да и других, кто вместе с ними, живыми, вышел тогда из-под огня и жить остался, теперь тоже раз, два и обчелся, их уж не соберешь. Но вот и они вдвоем остались... А что же дальше?

В тот вечер они впервые усомнились в том, в чем прежде не сомневался ни один из них: а все ли, как надо, делали они? Приезжали, сидели втроем у огня, точно от людей хоронились. А для чего, спросить, хоронились-то? Чего прятали? Или кто мог отнять у них что-то сокровенное, им одним памятное, или обидеть кто мог?

И вот, оказавшись наедине с собой, он снова вспомнил тот разговор и теперь, кажется, что-то начинал понимать... Правда, того ответа, который они искали вдвоем, еще не было, но Павел Иванович знал, где его искать, и потому невольно, блуждая весь день по лесу, он то и дело возвращался мыслями к тем двоим, оставшимся на берегу, к чужому костру...

Да, глупо, нескладно все вышло. С чего-то завелся, разнервничался попусту, дровами стал попрекать, а дрова-то, пропади они пропадом, гори они огнем — вон они, как лежали, так и лежат целехонькие на своем месте, где их упрятали. Конечно, с дров этих все и пошло. Сплоховал. Зря сплоховал. Хотел сразу повернуть назад, повиниться перед ребятами, да не смог... Потом ходил по лесу, то укорял, то успокаивал себя, но уже знал, что рано или поздно вернется к костру, не сможет не вернуться. И дело, конечно, было не только в рюкзаке, который остался там, на берегу...

И еще ему хотелось, чтобы кто-то из них — может, тот ершистый, с бородкой, или Саня-очкарик — вдруг забеспокоился о нем, пошел искать его по лесу или крикнул бы ему, позвал. И он невольно замедлял шаги, приостанавливался вдруг — слушал. А лес вокруг и рядом жил весенними пробуждающи-

мися голосами, и голосов и звуков разных было в нем великое множество. И другие, нелесные звуки, нет-нет, добирались сюда, шли они от реки, но разобрать их было невозможно, мешал непрестанный то затухающий, то вновь нарастающий гул моторных лодок. А кто-то и верно как будто покрикивал там... Или ему это только казалось.

И вдруг совсем явственно донеслось:

— Ба-тя-а! Оте-е-ец!

Павел Иванович замер. Прислушался: не ошибся ли он?

— Батя-а-а! — тут же раздалось снова.— Давай к костру-у-у, уха-а поспела-а-а!

Оказывается, он и ходил-то рядом. А может, это к вечеру так далеко и громко разносится?..

...Он появился у костра, когда над огнем в котелке уже кипело вовсю, а в бурлящей пене плясали, торчком выпрыгивая над ней, рыбьи хвосты. Костер потрескивал весело и жарко.

— Ну, батя, ты даешь! — почти радостно воскликнул бородач.— Все глотки пооборвали кричавши. И рыба вон извелась вся. Да и это...— Он прищелкнул пальцем под бородой.— Пора бы...

Саня хитровато щурился у костра, снимал котелок с огня.

Потом, когда уха дымилась в деревянных расписных мисках — и для Павла Ивановича такая же нашлась — и что надо было разлито по кружкам, трое поглядели друг на друга с одинаковым, сдержанным удивлением — чего не бывает, мол, на свете: утром хоть водой разливай, а теперь вот с кружками рядом сидят,— но тут же забыли об этом, и все, похоже, вспомнили о другом, о чем каждый, наверное, не раз подумывал сегодня, вспоминая так, как умело помнить сердце, как понимало оно, как чувствовало... Теперь они держали кружки, ждали, и ясно было: двое ждали одного, и он, Павел Иванович, знал, чего ждут они от него... Но он не спешил. А не спешил потому, что не мог вот так сразу сказать то, что, не раздумывая сказал бы, если бы рядом сидели не эти двое, а старые его друзья. Их, старых друзей, теперь не было рядом, а этих он совсем не знал, и они его тоже не знали, и надо было что-то понять, быть уверенным в чем-то, чтобы говорить им те же слова. И потому он спросил сначала:

— Ну, а у вас, у молодых, за что нынче пьют?

Двое переглянулись.

— Вообще-то за то же, что и у вас,— сказал Саня.— В такой день...

— Само собой,— поддержал другой.

— Выходит, за одно.— Павел Иванович поднял кружку, и две другие кружки стукнулись краями об нее.— Значит, за это и пьем, за нашу Победу... И за них, которых нет теперь с нами. Так что вот так...

Он первый выпил, а остаток по привычке выплеснул в огонь, чтобы горелось. Двое, не сговариваясь, тоже плеснули из своих кружек. Потом была тишина, и слышно было, как течет река, как потрескивают, пыхают в костре дрова, как бьет, играя на перекате, рыба... Огонь костра отгородил от себя непроницаемой стеной все, что было там, за его кругом, и только звезды над их головами горели ярко и чисто. И вдруг что-то вспыхнуло, народилось еще, но не в небе, а на земле — зажглось и замерцало отраженно в воде...

— Вон еще зажег кто-то,— почему-то шепотом сказал Саня,— это на том берегу.— И попросил Гену: — Давай нашу, а?

Гена не отозвался. Как будто не услышал. Он не спеша докуривал сигарету, задумчиво глядел на тот далекий, только что народившийся в ночи огонь чужого костра, словно ждал чего-то. Но вот, мелькнув светлячком, недокуренная сигарета полетела в огонь, Гена еще подождал немного и запел...

При первых словах, которые еще и не были песней, Павел Иванович замер: так неожиданно это было — услышать вдруг у чужого костра давно знакомые слова, услышать песню, которую столько раз... Нет, не в шумной праздничной застолице, не по телевизору, а именно здесь, на этом месте, на этом берегу, только у другого, у своего костра... Вот в чем было дело!

...Горит свечи огарочек, гремит недальний бой.
Налей дружок по чарочке, по нашей фронтовой...

Ну, конечно же, все так и было — и ночь, и костер, и эта песня... Они сами пели ее, и Павел Иванович, бывало, запевал, а двое подхватывали. Но прежде кто-нибудь из них вот так же и предлагал: давай, мол, нашу... Нашу. А теперь эти двое пели, и Павел Иванович, замирая сердцем, слушал их.

Где елки осыпаются, где елочки стоят,
Который год красавицы гуляют без ребят...

Притихший и удивленный сидел у костра Павел Иванович, все словно замерло в нем, и он чувствовал, что вот сейчас, не в эту, так в другую минуту, с ним что-то непременно должно случиться — он или заплачет, или встанет и уйдет от костра, чтобы потом заплакать...

«Вот тебе на! — бормотал он растроганно, стараясь удержать слезы.— Вот и пойми их, этих нынешних, поди разберись, откуда что у них... Вот и песня эта, какими такими судьбами добралась до их сердец и что она говорит им? Ведь столько песен разных насочиняли, а они вот, черти бородатые, нашу поют, да еще как поют-то! И этот самый «недальний бой»... Когда они его слышали, где?»

То ли от близкого огня, то ли от мыслей этих теплая волна затопила, затуманила глаза, и сквозь туман, который не хотелось уже ни сморгнуть, ни смахнуть рукой, увиделось Павлу Ивановичу другое, то, что весь день как будто стояло незримо с ним рядом или за спиной... Увидел он всех, кто прорывался вместе с ним в сорок первом через эту реку, сквозь шквал свинца, ударивший из-под кустов... Теперь они словно сошлись сюда, к костру, и грелись у огня и слушали песню, которую ни спеть, ни услышать им не довелось.

г. Калинин.





Юрий МАСЛОВ

УРОКИ МУЗЫКИ

РАССКАЗ

Рисунок М. ЛИСОГОРСКОГО.

В аэропорту Комраков взял такси. Взял не потому, что любил шиковать, а потому, что с детства был нетерпелив. Во всем. С годами Борис поборол в себе эту слабость (сказалась выучка геолога-поисковика), но в делах повседневных и обыденных он, как и прежде, был тороплив.

Шофер, видимо, опаздывал и до самого города гнал машину, как сумасшедший. Комраков угостил его сигаретой и закурил сам. Курить ему не хотелось, но он привык закуривать, когда чего-нибудь ждал. Все равно чего: встречи с девушкой, самолета или разноса начальства. Такая уж у него была привычка.

При въезде в город Комраковым вдруг овладело беспокойство, смутное и на первый взгляд беспричинное. Он поглубже засунул кулаки в карманы меховой куртки и некоторое время сидел, не шевелясь, мрачно поглядывая вперед на дорогу. Затем раскрыл лежащий на коленях портфель и, порывшись в бумагах, вытащил старый, замусоленный конверт. Взглянул на штемпель. Письмо было отправлено почти год назад. На этом их переписка оборвалась. «Странно,— подумал Комраков,— при ее пунктуальности... Терпеть не могла слова «забыл» и презирала тех, кто опаздывал...»

— Я вам сказал, куда ехать? —не отрывая от письма глаз, спросил Комраков.

— Серебряный переулок.— Шофер с недоумением посмотрел на пассажира.

— Давайте сперва заедем в Староконюшенный, это рядом, тоже на Арбате.

— Знаю,— пробурчал шофер, с откровенным и злым безразличием пожимая плечами.

Дом был старый, облупившийся и давно требовал ремонта.

Комраков поднялся на третий этаж. На лестничной площадке было тепло и сухо; как прежде, пахло луком и жареной рыбой, а из квартиры чуть слышно доносились звуки рояля. Комраков потянул носом и, ощутив знакомые с детства запахи, растрогался. В иные годы Борис бы посмеялся над собственной чувствительностью, но теперь, когда он достаточно помудрел и постарел, ему не хотелось разыгрывать невозмутимость.

Комраков знал, что дверь здесь не запирают, хотел войти, но в последнюю минуту передумал и позвонил. Обычно после этого в квартире воцарялась тишина, и образовавшуюся паузу прерывал сильный женский голос:

— Входите, там открыто!

Именно это Комраков сейчас хотел услышать больше всего на свете.

...Впервые его привели сюда, когда он перешел во второй класс.

— Боря, если будешь себя плохо вести, тебя ждут неприятности,— сказал папа и для убедительности встряхнул сына за воротник пальто.

Борька изобразил на лице гримасу боли и отчаяния. Мама бросила на мужа негодующий взгляд и, пригладив сыну непослушные вихры, с иронией произнесла:

— Слова до ребенка, между прочим, тоже доходят.

Папа кашлянул в кулак и позвонил. Музыка за дверью стихла, и Борька услышал:

— Входите, там открыто!

В коридоре их встретила высокая женщина. Плечи ее прикрывал шерстяной платок, а в правой руке она держала очки.

— Здравствуйте,— сказал папа.

— Здравствуйте,— ответила женщина.

— Мы к вам от Елены Ивановны...— Мама подтолкнула Борьку вперед.

— Я знаю,— сказала женщина,— она мне звонила. Проходите.

Вся комната была заставлена цветами. Борька на миг растерялся. Горшочки с диковинными растениями громоздились на подоконнике и письменном столе, на причудливых стенных полочках, взбегавших к самому потолку. Они стояли даже на старинном камине и еще более старинном бюро с хрупкими изогнутыми ножками. Единственно свободными оставались только рояль и те места на стенах, которые были заняты картинами.

Некоторое время Борька стоял смирно, боясь пошевелить и пальцем. Ему казалось: сделай он шаг — и какой-нибудь из цветков с грохотом полетит на пол.

В углу комнаты красовался большой аквариум. Его подсвеченные стекла причудливо преломляли грот и зелень, среди которой юрко сновали золотистые рыбки. С ними Борька должен был познакомиться поближе. Взрослые продолжали разговаривать, и Борька, воспользовавшись их занятостью, осторожно, боком придвинулся к аквариуму, обследовал его со всех сторон, а затем ткнул пальцем в зазевавшуюся рыбку.

— Боря, это же тебе не кошка! — возмутилась мама.

Борька спрятал руки за спину и виновато улыбнулся.

— У тебя есть кошка? — спросила женщина.

— Была,— ответила мама.

— С ней что-нибудь случилось? — Женщина подошла к Борьке и усадила его в кресло.

— Ее пришлось отдать соседям,— сказал папа. Затем развел руками и пояснил: — Он беспрерывно дергал кошку за хвост, а она котят ждала...

Женщина села напротив Борьки и, когда он поднял глаза, спросила:

— Зачем ты дергал ее за хвост?

— Я играл с ней,— грустно соврал Борька и улыбнулся, наивно, простодушно — словом так, как улыбался всякий раз, когда ему приходилось врать.

Женщина приняла ложь спокойно. Борька облегченно вздохнул, думая, что пронесло, но, когда поднял глаза и увидел, с каким вниманием его рассматривают сквозь очки, понял, что женщина не поверила ни одному его слову.

— Как тебя зовут? — спросила женщина.

— Боря.

— Боря,— повторила женщина и снова сняла очки.— А меня — Инна Васильевна. Ты хочешь заниматься музыкой?

Борька заерзал, быстро перевел взгляд на родителей и по их глазам понял, что хочет, сильно хочет, ну просто жить без музыки не может. Но Борька не обладал еще ни отцовским красноречием, ни маминым даром убеждения, поэтому его «хочу» прозвучало фальшиво и лицемерно.

Инна Васильевна неожиданно улыбнулась. И это поразило Борьку — он был уверен, что на него сердятся: уж очень очевидной была ложь.

— Слушай внимательно,— сказала Инна Васильевна. Она взяла карандаш и отстучала им несколько быстрых тире и точек.— Повтори.

— Это азбука Морзе? — спросил Борька.

— Да,— кивнула Инна Васильевна и повторила упражнение. Только теперь тире и точки шли в другой последовательности.

Борька пробарабанил что-то громкое и маршеобразное, явно не то, что ему велели. Не смог он выполнить упражнение и на второй и на третий раз.

— Очень уж ты невнимателен сегодня, Борис,— сказала мама, перехватив выразительный взгляд Инны Васильевны.

— Он может напеть любую песню без ошибок. Услышит по радио и — пожалуйста, готово. Боря! — Папа сделал знак сыну.

Борька встал и, зарядив легкие могучим глотком воздуха, истошным голосом завопил:

...Валенки, валенки,
Да не подшиты, стареньки...

Мама всплеснула руками, а папа сморщился так, будто у него разом заболели все тридцать два зуба. Инна Васильевна рассмеялась, беззвучно, до слез. Затем вытерла глаза платком и не то вопросительно, не то утвердительно проговорила:

— Значит, ты хочешь заниматься музыкой...

— Да,— сказал Борька.

И ответ его был искренним — уж очень ему понравилась учительница.

На первых порах своего музыкального образования Борька был послушен и исполнителен. Он старательно рисовал нотные значки, с удовольствием разучивал их на рояле и скоро всю нотную азбуку знал как свои пять пальцев. Инну Васильевну эта прилежность поначалу удивила, а потом и покорила — она видела, что музыка ее маленькому ученику дается нелегко. Были довольны и папа с мамой. При встречах с Инной Васильевной они рассыпались в благодарностях, признательности, а в канун восьмого марта папа преподнес учительнице розы, которые достал по великому знакомству: один из его приятелей работал в оранжерее Ботанического сада.

Уроки музыки не прошли для Борьки даром, и он сумел извлечь из них практическую пользу. Однажды во время пения, когда учительница вышла из класса, он подошел к роялю, взгромоздился на стул и, небрежно, как великий артист, откинув полы своего форменного пиджачка, взял два вступительных аккорда. Мальчики хихикнули, девочки иронически заулыбались. Тогда Борька тряхнул головой, зачем-то раскрыл рот и с отчаянностью погибающего застучал по клавишам: «По долинам и по взгорьям...»

Эффект был ошеломляющий. Девочки хором закричали: «Еще»,— а Витька Симагин, который всегда и во всем должен был быть первым, стремглав подскочил к Борьбе и, потрясая кулаком, заорал: «Давай!».

Из-за неплотно прикрытой двери в коридор хлынул разноголосый рев:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

За это импровизированное выступление Борька получил тройку в четверти по поведению и... приглашение участвовать в школьной самодеятельности.

Но вскоре Борьке надоело разыгрывать роль прилежного ученика. А он именно разыгрывал, и это требовало от него огромного напряжения.

Борька понимал, что Инна Васильевна, заметив его равнодушие к музыке, огорчится. А расстраивать учительницу ему не хотелось: очень уж он к ней привязался. Инне Васильевне можно было поведать



о неудачах в школе, о своих сомнениях насчет жуткого будущего, которое предрекали Борьке родители в случае непослушания, рассказать о своих планах, спросить, отчего у него умерла рыбка в аквариуме. И на каждый из этих вопросов получить толковый, исчерпывающий ответ. А не то, что родители: это тебе рано, слишком много будешь знать, скоро состаришься. Нет, такого друга терять было нельзя, просто невозможно. Но разучивать всякие там гаммы и при этом делать вид, что счастлив, как мальчик, которому купили сразу двенадцать сливочных пломбиров, он тоже больше не мог.

Как-то в начале урока Борька спросил:

— Инна Васильевна, а зачем вам столько цветов?

Инна Васильевна обвела взглядом комнату и задумалась. Лоб ее перерезала неровная цепочка морщин, глаза погрустнели, и Борьке показалось, что учительница вот-вот заплачет.

— Люблю,— Инна Васильевна кротко улыбнулась.— Муж очень любил, и я люблю.

— А где ваш муж? — Тут Борька понял, что залез в область недозволенного, и обеспокоенно заерзал.

— Погиб,— просто сказала Инна Васильевна.

— А мой папа не был на войне,— грустно заметил Борька.

— И мой муж не был.— Инна Васильевна вскинула голову и задумчиво посмотрела на небольшую фотографию, висевшую на стене.

Борька проследил за ее взглядом. На палубе парохода стоял высокий мужчина. Рукава рубашки закатаны, через плечо — рюкзак. Он улыбался и махал кому-то рукой.

— А почему он умер? — удивленно спросил Борька.

— Он был вулканолог. Знаешь, что это такое?

— Да,— подумав, сказал Борька.— У меня открытка есть — «Извержение Везувия».

Инна Васильевна кивнула.

— И он очень любил цветы.

— А я марки собираю,— сказал Борька.— У меня много марок.— И со значением добавил: — Это интересно.

— И цветы собирать интересно,— возразила Инна Васильевна. Она встала и подошла к окну.— Вот, например, монстера — лиана тропических лесов. Очень любит солнце и влагу. Но если воздух будет чересчур влажный, то листья перестанут испарять воду, они ее будут просто выдавливать вот из этих отверстий. Видишь?

— Вижу,— сказал Борька, подойдя поближе.

— По этому растению, как по барометру, можно предсказывать погоду. Разве это не интересно?

— Интересно,— согласился Борька и перевел взгляд на растение, свисающее из горшочка, подвешенного почти к самому потолку.

— А это ампела,— пояснила Инна Васильевна.— Так звали героя древнегреческого мифа, которого Зевс превратил в виноградную лозу.

— А вот такой цветок и у нас есть,— обрадовался Борька, показав на высокий голый стебель с красивыми розетками листьев.

— Это циперус.

— А почему он в двух горшках?

— В нижнем должна быть вода.

— Нет там воды,— сказал Борька и для убедительности засунул в горшочек палец.

— Действительно.— Инна Васильевна покачала головой.— Надо его напоить.

— Можно? — с воодушевлением спросил Борька.

Получив разрешение, он опрометью бросился на кухню. Вернувшись, спросил:

— А папирус — это тоже растение?

— Да. Папирус — двоюродный брат циперуса. Но растет он не на Мадагаскаре, а по берегам Нила. Древние египтяне делали из него бумагу.

...Все дни своей жизни Борька делил на удачные и неудачные. Эту привычку он перенял у папы, который каждый вечер, усаживаясь ужинать, спрашивал у сына: «Ну как, удачный у нас был денек?» Борька подытоживал в уме события дня и, если все было благополучно — в школе пятерки, а в альбоме красовалась новая марка, приобретенная в магазине или выменянная у товарищей,— быстро отвечал: «Удачный». Если же пауза затягивалась, папа хмурился и просил показать дневник.

Сегодня Борьке нечего было опасаться папиного вопроса. День выдался сверхудачный. День открытий. День увлекательных путешествий. Но все то необычное и неожиданное, что пришлось узнать ему, померкло перед главным открытием — он понял, что на уроках музыки можно не скучать и что они могут проходить так же интересно, как прогулка в зоопарк или посещение кино. Для этого требовалось только отвлечь Инну Васильевну. Каким образом, Борька уже знал.

Витька Симагин собирал марки, а дома у него, особенно на кухне, стояло множество цветов неизвестного происхождения. На них-то Борька и нацелился. На уроке рисования он шепнул приятелю:

— Могу серию альпинистов поменять.

Витька подобрал вечно оттопыренную нижнюю губу и недоверчиво спросил:

— На что?

— На горшок с цветами.

Витька подумал, что над ним смеются, и, обидевшись, отвернулся.

— Честное слово,— поклялся Борька.

Все еще сомневаясь, Витька бросил на товарища изумленный взгляд.

— А где я его возьму?

— На кухне,— жарко прошептал Борька.— У вас все окно ими уставлено.

— Это соседкины,— сказал Витька.— Мне попадет.

— Она не узнает. Их много,— продолжал наступать Борька, почувствовав в голосе приятеля неуверенность.

К концу урока Витька сдался: уж очень велико было желание заполучить серию альпинистов.

Борька пришел к Симагину после обеда. Витька проводил его на кухню и, суетясь, зашептал:

— Быстрей. Пока дома никого нет.

Цветы стояли на подоконнике и столах, и все они были разные и красивые. Но Борьке надо было выбрать самый красивый, самый редкий, который мог бы действительно украсить коллекцию Инны Васильевны, и он шел от цветка к цветку, как гончая по следу, надеясь только на свое собственное безошибочное чутье. Выбор его пал на кактус, отростки которого напоминали узких изворотливых змей.

— Вот этот.— Борька взял горшок и, еще раз внимательно осмотрев его, стал запихивать в сумку.

— Марки давай! — не своим голосом вдруг заорал Витька, который до сих пор не мог добраться до сути этого неравнозначного обмена, что угнетало его и злило одновременно.

Борька достал из кармана конверт с марками и, отдав их обескураженному приятелю, торопливо покинул квартиру.

Инна Васильевна искренне обрадовалась подарку, но и удивилась.

— Где ты его взял? — спросила она, машинально нащупывая в кармане очки.— Это редкий экземпляр мексиканского змеевидного кактуса.

— Правда? — просиял Борька, радуясь, что не ошибся в предположениях насчет ценности цветка.

— Да,— тихо проговорила Инна Васильевна.— В народе его зовут «Царица ночи» — он удивительно красиво цветет. Так где ты его приобрел?

Врать Инне Васильевне было бессмысленно. Борька это уже давно усвоил. Можно было солгать маме, отцу, учительнице в школе, там бы его вранье еще могли принять за чистую монету, а если бы и разоблачили, то все равно ничего страшного не случилось бы: поругали, пожурили, в крайнем случае прочли скучную нотацию. Инна Васильевна нотаций не читала. Она обиженно поджимала губы, становилась неразговорчивой и подчеркнуто вежливой. И эта ее вежливость и презрительная снисходительность доводили Борьку до отчаяния. В эти минуты он, как никогда, остро чувствовал свою ничтожность, мелочность и никомуненужность.

Не соврал Борька и на этот раз.

— Я выменял его на марки,— неохотно признался он и густо покраснел. Покраснел потому, что правда была частичной.

— Хорошо,— сказала Инна Васильевна,— но больше чужие цветы преподносить мне не смей. Договорились?

Когда Борька закончил четвертый класс, Инна Васильевна подарила ему альбом и серию марок о первооткрывателях новых земель.

Борька ошибался, думая, что Инна Васильевна не замечает его хитростей и уловок, которыми он старался как-то отвлечь ее от музыкальных занятий. Инна Васильевна все прекрасно видела и понимала, и, конечно же, могла пресечь раз и навсегда бесконечные вопросы о далеких, неведомых странах, землетрясениях, вулканах, о том, что находится глубоко под землей и высоко в небе. Но она чувствовала, что по-настоящему мальчишке интересно именно ЭТО, и после долгих, мучительных раздумий, после бесплодных переговоров с родителями пошла навстречу своему ученику. Борька узнал маршруты Пржевальского и Арсеньева, Санникова и Русанова, фантазия уносила его в далекую Арктику: он плавал с командором Берингом, зимовал на Северном полюсе с папанинской четверкой. Он заново переживал их неудачи и радовался их победам, голодал вместе со своими героями, замерзал во льдах, но неумолимо, как когда-то они, шаг за шагом пробивался вперед. И эта неумолимость, дерзость и отвага первых землепроходцев наполняла Борькину жизнь новым смыслом и значением.

Безмятежную Борькину уверенность в надежности своего амплуа примерного ученика развеял случай, который, как ни странно, снискал ему славу будущей музыкальной знаменитости.

В школе должен был состояться концерт. Борьку включили в число участников.

— Сыграешь чего-нибудь, — авторитетно заявил Витька Симагин, на которого было возложено составление программы вечера.

— Ты бы сперва спросил, согласен я или нет,— возмутился Борька.

— Тебе разве честь класса не дорога? — тоже возмутился Симагин, уже усвоивший все демагогические приемы словесного боя.— Или, может быть, за шесть лет ты одного «Чижика» разучил? До, ре, ми...— Витька оседлал верхом парту и ядовито усмехнулся.

— Я могу сыграть, только слушать ведь никто не будет,— еще раз попытался выкрутиться Борька.

— Это уже не твоего ума дело,— возразил Витька.

Отступать было некуда. Борька, побагровев, зло выкрикнул:

— Бах!

Витька озадаченно присвистнул.

— Серьезная музыка. Ну, ладно. Бах так Бах.

О предстоящем испытании, свалившемся на него, как снег на голову, Борька решил Инне Васильевне не говорить. Он не знал наизусть ни одного серьезного произведения, а при мысли о необходимости что-то разучивать ему становилось не по себе: портилось настроение, появлялись вялость, апатия, все валилось из рук. «По нотам что-нибудь сыграю,— решил Борька, — все равно не поймут».

В день выступления он надел новый костюм и тщательно причесался. На сцену вышел взволнованный и серьезный. Невидящими глазами окинул зал, выждал паузу и громко выдохнув: «Бах. Прелюдия и фуга»,— с ужасом вспомнил, что забыл ноты.

Борька играл вдохновенно, в бешеном темпе. Гремящим яростным аккордам было тесно в маленьком школьном зале, и они, накатываясь друг на друга, обрушивались на притихших слушателей, словно волны могучего прибоя на каменистый берег. Импровизация была неожиданной и стремительной, и Борька ее исполнил, как подлинный виртуоз, на одном дыхании. Все гаммы, нехитрые менуэты, марши и вальсы, которые он осилил за годы ученичества, слились в ней воедино.

Борька кончил играть так же неожиданно, как и начал. Некоторое время стояла тишина, а затем раздался гром аплодисментов, и громче всех хлопал и кричал «Браво!» потрясенный Витька Симагин. А рядом с ним сидела еще более потрясенная учительница пения, и взгляд ее горел негодованием.

«Ну вот»,— сердце у Борьки екнуло, но все-таки он покинул сцену с таким чувством, с каким оставляют ринг непобежденные боксеры. Ему было горько и радостно одновременно, щемило сердце, а на глаза предательски накатились слезы. Он знал, что больше ему не выступать. Но не эта мысль повергла его в уныние — другая, пришедшая следом за первой. Борька вдруг отчетливо понял, что о его бесталанности знает и Инна Васильевна. И что это открытие она сделала не сегодня и не вчера, а, может быть, в тот далекий день, когда он притащил ей в подарок змеевидный кактус, или еще раньше.

Борька решил бросить музыку. Навсегда. В тот же вечер он заявил об этом родителям. Лицо у мамы удивленно вытянулось, и она посмотрела на сына так, как будто он сказал, что собирается кончить жизнь самоубийством. Но в следующее мгновение удивление сменила ярость.

— Как, шесть лет собаке под хвост? — Это было самое крепкое выражение, которое папа когда-либо слышал от мамы.

Он нахмурился и строго взглянул на сына.

— Я пошутил,— сказал Борька, поняв, что из его затеи все равно ничего не выйдет.

Мама, всхлипнув, выбежала на кухню. Папа огорченно посмотрел ей вслед и раздраженно заметил:

— В следующий раз шути осторожней.

Но развязка все равно должна была наступить. Об этом знали и Борька и Инна Васильевна. И она наступила. Это случилось в день выпускного школьного вечера.

Борис позвонил Инне Васильевне утром.

— Здравствуйте,— сказал он нетерпеливо.

— Здравствуй. Тебя можно поздравить?

— Рано. Самый серьезный экзамен впереди. — По затянувшейся паузе Борис понял, что Инна Васильевна не на шутку встревожилась, но все равно продолжал молчать, испытывая ее нетерпение.

— Что ты имеешь в виду? — наконец не выдержала Инна Васильевна.

— Музыку.

— Тебе ее не сдать. И ты сам это прекрасно знаешь.

— Я-то знаю, а вот предки...

— Сколько раз я тебя просила, чтобы ты не смел так называть родителей.

— Переживут,— язвительно протянул Борис,— им еще не то предстоит пережить.

— Тебе нужно со мной поговорить? — спросила Инна Васильевна.

— Да.

— Приходи.— И она повесила трубку.

За последний месяц Борис сильно изменился, и Инну Васильевну поразила та перемена, которая произошла с ее питомцем. Все школьное, что было в Борьке, вдруг неожиданно исчезло. Перед ней стоял мужчина. Рослый. Крепкий. В кожаной куртке. И пахло от него табаком, как от настоящего мужчины. Инна Васильевна подошла к нему поближе.

— Ты что, курил?

— Пробовал.

— Нравится?

— Трудно сказать. — Борька неопределенно пожал плечами.

Инна Васильевна опустилась в кресло и, прижав к груди руки, как-то по-бабьи, просяще и жалостливо проговорила:

— Не рано ли, Боря? Вся жизнь впереди...

— Верно. — Борис усмехнулся, и Инна Васильевна поняла, что все ее доводы будут напрасны, неубедительны и бесполезны.

А бесполезных вещей она делать не любила.

— Я слушаю тебя,— спокойно сказала Инна Васильевна.

— Сначала примите вот это. — Борис развернул бумагу и высыпал ей на колени огромный букет нарциссов.

— Это по какому же случаю? — спросила Инна Васильевна, смущенно улыбаясь.

— По случаю... — Борис запнулся и, сцепив за спиной пальцы, взволнованно заходил по комнате.— Я решил уехать в экспедицию.

— В экспедицию?!

— Да. В экспедицию! — Борис взъерошил волосы и резко остановился. — Мне надоела вся эта канитель. Родителей не переубедить. Им консерваторию подавай!

— И ты решил поставить их перед фактом?

— Да, — с жаром выдохнул Борис. — И вы должны мне помочь.

— Каким образом? — спросила Инна Васильевна, потрясенная этим категоричным заявлением.

— У вас много знакомых геологов, напишите кому-нибудь. Пусть возьмут. Кем угодно, хоть рабочим... Я на все согласен.

Инна Васильевна долго молчала, думая о том, что не ошиблась в своих предположениях и что все произошло именно так, как ей не раз представлялось. Но теперь ей стало грустно и тоскливо, и откуда-то издалека пришло чувство вины, словно она была соучастницей случившегося.

— Ты хорошо подумал?

— Лучше некуда, — почти выкрикнул Борис. И вдруг взмолился: — Ну помогите, Инна Васильевна, ну что вам стоит?

— А почему ты сразу не хочешь поступать в институт?

— Для этого мне все равно придется уйти из дома,— мрачно заявил Борис.— А без стажа... В общем, я зря потеряю время.

— Хорошо...

— Спасибо,— тихо сказал он.— Я на восток поеду, к Куприянову. Вы о нем так много рассказывали...

— На восток так на восток.— Инна Васильевна выдвинула средний ящик комода.

На дне его лежала толстая пачка десяток.

— Вот твои деньги, Боря.

— Мои?!

— Вернее, твоих родителей — плата за уроки музыки. Надеюсь, ты понимаешь, почему я не могу их взять?

— Это нечестно, вы же занимались...

— Не надо, Боря, — улыбнулась Инна Васильевна,— не будем ломать голову над тем, что сомнению не подлежит. Вот тебе триста рублей. Двести на дорогу, а сотня — до первой получки.

Через неделю он уехал. А еще через месяц с далеких Курильских островов пришло от него первое письмо. Он писал, что откопал какие-то удивительные цветы, которые во что бы то ни стало доставит Инне Васильевне живыми и невредимыми.

Дверь долго не открывали. Комраков нетерпеливо покосился на матовую кнопку звонка и позвонил еще раз. Наконец послышался легкий перестук каблуков, и незнакомый женский голос спросил:

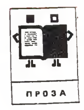
— Кто там?

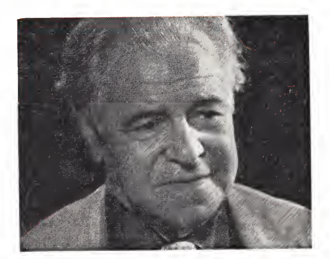
Комраков почувствовал резкую, нестерпимую боль в сердце, и смутное беспокойство, которое овладело им при въезде в город, неожиданно обрело реальный и жестокий смысл.

Сухо, как взведенный курок, лязгнул ключ в замке.

Комраков повернулся и пошел прочь.

На весь подъезд раздраженно и однообразно гремел незнакомый металлический голос: «Кто там? Кто там? Кто?..»





Алексей
КАПЛЕР

ВОСЬМОЙ

РАССКАЗ

Случилось это весной не то в одна тысяча девятьсот двадцать четвертом, не то двадцать пятом году.

Заведующий одесским Посредрабисом сбежал. Не пришел на работу ни утром, ни днем. К вечеру секретарь — он же и единственный, кроме заведующего, сотрудник этого учреждения — отправился к нему домой. Там он узнал о бегстве товарища Гуза, о том, что тот сел накануне в поезд и укатил в Ленинград.

Отдел труда и правление союза работников искусств, которым подчинялся Посредрабис, назначили срочную ревизию. Комиссия, созданная для этого, однако же, с недоумением обнаружила, что все финансовые дела в полном порядке. Составили об этом акт.

Гадать о причинах бегства Гуза, собственно, не было нужды: они были ясны. У Бориса Гуза, маленького, круглого человечка, был тенор. При помощи этого тенора он издавал звуки оглушающей силы и сверхъестественной продолжительности. Фермато Гуза могли выдерживать только одесские любители пения. Они вжимали головы в плечи, их барабанные перепонки трепетали последним трепетом, вот-вот готовые лопнуть, но одесситы при этом счастливо улыбались — вот это-таки голос!

Гуз несколько раз обращался и в отдел труда и к правлению союза Рабис с просьбой освободить его, так как здесь, в Одессе, он уже «доучился», а в Ленинграде хотел совершенствоваться у знаменитого — не помню какого — профессора бельканто.

В обоих почтенных учреждениях к артистическим планам Гуза относились несерьезно: да, голос. Да, верно... Но голос какой-то дурацкой силы. Есть слух, это правда, но ведь никакой музыкальности...

В общем, пророк в своем отечестве признан не был. А в Ленинграде он вскоре стал известным оперным певцом.

Рисунки
Е. МЕДВЕДЕВА.

Я слушал его однажды в «Кармен». Гуз был в то время уже премьером оперного театра и пел партию Хозе.

Он вышел на сцену — маленький, круглый, с коротким ножками и ручками, в курточке с золотыми позументами, толстенькие ляжечки обтянуты белыми рейтузами... сверкающие сапоги на высоком, почти дамском каблуке.

И запел...

Это было невыносимо.

Меня поражало отношение к Гузу ленинградских музыкантов — как они могли его терпеть?

Бесчисленные хвалебные рецензии, огромные буквы его имени на афишах — все говорило о колоссальном успехе, о признании.

Видимо, и здесь настолько высоко ценился голос, сила звука, что все остальное ему прощали: и отсутствие артистизма и вкуса, и смешную внешность, и одесский — о какой одесский! — акцент.

В память Одессы я терпеливо прослушал целый акт, глядя на то, как коротенький дон Хозе пылко изъяснялся в любви крупногабаритной Кармен, делая традиционные оперные жесты, не имеющие ровно никакой связи с содержанием арии. Он то разводил руки, то протягивал одну из них вперед, в публику, куда и обращал тексты, предназначенные стоящей в стороне любимой.

Она пережидала арию Хозе, тоскливо упершись в талию кулаками, и по временам пошевеливала бедрами, приводя тем в движение свои многослойные яркие юбки.

Но вот Гуз брал с легкостью верхнее «до» и держал его так долго, что, казалось, в конце этого фермато певец обязательно упадет замертво.

Но Хозе не падал, а все тянул оглушительный звук, и публика (ленинградская публика!) неистово аплодировала и кричала «Бис!».

Я угрюмо наблюдал это, понимая, что молодость прошла, ибо раньше со мной тут обязательно случился бы припадок истерического смеха.

Теперь мне все это казалось только грустным.

Итак, зав. Посредрабисом сбежал. Не везло учреждению. Были и до Гуза заведующие, но по различным причинам подолгу не засиживались.

На место Гуза на сей раз назначили товарища Сажина Андриана Григорьевича, недавно переехавшего в Одессу.

До революции Сажин был учителем гимназии в Петрограде.

«Интеллигент в первом поколении», сын бедняка-крестьянина, Сажин сам пробил себе дорогу в жизни.

Реакционные умонастроения и монархические взгляды некоторых коллег-учителей оказали большое влияние на Сажина — влияние отталкивающее.

Он долго приглядывался к различным партиям, знакомился с их программами, читал Бакунина, Маркса, Бердяева, Ницше и в апреле 1917 года принял окончательное решение: вступил в партию большевиков — РСДРП(б).

Было ему тогда двадцать пять лет.

Учение Маркса он продолжал изучать, и оно представлялось ему не только неоспоримо верным, но и единственно возможным.

Вскоре Сажин бросил педагогику и стал активистом, партийным работником Выборгского райкома в Петрограде. Накануне Октябрьских дней и во время восстания он выполнял бесчисленные мелкие поручения, после Октября выступал на митингах, читал лекции.

Его контакту с аудиторией несколько мешала близорукость, ибо, выступая, он снимал свои очки — минус одиннадцать, и все становилось расплывчатым, он видел только какие-то неясные очертания, светлые и темные пятна.

А оратору ведь необходимо различать лица своих слушателей, а то и выбрать кого-нибудь среди них, чтобы обращаться как бы лично к нему.

Очки же, по убеждению Сажина, были чем-то вроде признака человека чуждой среды и могли помешать его общению с рабочей и солдатской аудиторией.

Гражданскую войну Сажин провоевал в Первой конной.

Близорукость и очки с толстыми стеклами не помешали военкому эскадрона Сажину стать отличным всадником, лихо носиться на коне, владеть шашкой, и заработать две сабельные раны и пулю в сантиметре от сердца.

Закончилась война. Демобилизованный после лазаретов по чистой, Сажин был направлен на работу в отдел народного образования, где его назначили начальником Политпросвета — подотдела политического просвещения.

А еще через год по настоятельному совету врачебной комиссии, которая нашла у него серьезный непорядок в легких, Сажин переехал на юг.

И вот Одесса... Еще «та» Одесса, середины двадцатых годов, сохранившая свой неповторимый колорит, лексику, южный темперамент и одесские хохмы.

Сажину предложили только что освободившуюся должность заведующего Посредрабисом.

Что это такое, Посредрабис? Сажин не имел о том ни малейшего понятия.

Однако же ему кое-что разъяснили, обещали в случае чего помочь советом, и он согласился.

Размер оклада не имел никакого значения: как член партии Сажин на любой работе имел право получать не больше партмаксимума, а он в те времена составлял девяносто рублей — сумму ничтожную.

Андриан Григорьевич был человеком в высшей степени дисциплинированным, пожалуй, даже педантом.

К Посредрабису в первый день своей работы он подошел в девять ноль-ноль.

Дверь, однако же, была заперта, и никто за ней не подавал признаков жизни.

Посредрабис помещался на Ланжероновской улице, в бывшем рыбном магазине.

Сажин дернул дверь раз-другой и принялся ждать.

Через полчаса появился наконец секретарь Посредрабиса Полещук, в прошлом артист цирка Арнольд Мильтон.

Он шел подпрыгивающей походкой, то и дело почесываясь и водворяя на место вываливающиеся из толстого, ободранного портфеля бумаги. Рыжие, видимо, за всю жизнь ни разу не стриженные волосы торчали во все стороны безо всякой системы.

Видавшая многие виды, некогда бордовая толстовка была подпоясана шпагатом.

Бумажные брючки сели после стирки и заканчивались гораздо раньше, чем следовало, открывая тонкие, поросшие рыжим кустарником ноги в сандалиях.

Полещук удивленно посмотрел на раннего очкастого посетителя в поношенном френче, галифе и сапогах.

— Вы ко мне? — спросил он Сажина, отпирая дверь.

— Я Сажин. Заведующий Посредрабисом,— резко ответил Андриан Григорьевич,— и хочу получить объяснение, почему вы явились на работу с опозданием на 30 минут.

— А... так это вы...— равнодушно произнес Полещук,— можете зайти. Вот вам кабинет. Дверь плохо закрывается — села. Будете восьмой.

— Позвольте узнать, товарищ...

— Полещук.

— ...товарищ Полещук, что значит — восьмой?

— То значит, что я уже пережил тут семь таких заведующих.

— Вот оно что. Но хоть я и восьмой, вам придется, видимо, мне первому написать объяснительную записку о причине опоздания на работу. И сегодня же мне ее подать.

— Пожалуйста,— вытряхивая на свой стол содержимое портфеля, ответил Полещук.— Могу хоть сейчас объяснить: никто раньше десяти все равно сюда не зайдет.

— Напишите объяснительную, я подумаю, что делать.

Настало, очевидно, время рассказать, что это было за учреждение — Посредрабис.

В дореволюционные времена — да и в первые годы после революции — актеры России дважды в год съезжались в Москву на этакие «стояния», на «биржи», куда являлись и антрепренеры. Там заключались контракты на сезон.

За исключением крупных, известных артистов с обеспеченным положением, вся остальная актерская братия состояла из людей, не имеющих ни постоянного пристанища, ни постоянной службы.

Их часто обманывал какой-нибудь жуликоватый, а то и действительно «прогоревший» антрепренер, который вдруг посреди сезона исчезал, прихватив кассу и не расплатившись с труппой.

И вот Советское государство взялось за трудоустройство актеров. Для этой цели были созданы в Москве и других городах Посредрабисы — посреднические бюро по найму работников искусств.

На учете Посредрабисов состояли актеры драматические, оперные, опереточные, камерные певцы, куплетисты, фокусники, иллюзионисты, эстрадные певицы, артисты цирка, киноартисты и технический персонал: администраторы, контролеры, билетеры, рабочие сцены и так далее.

Посредрабисы вели (безнадежную, правда) борьбу с бесчисленными жучками, которые устраивали «левые» концерты, эксплуатируя и обжуливая актеров.

Справка Посредрабиса до некоторой степени свидетельствовала, что ее предъявитель — трудящийся элемент.

Поэтому те, кому нужна была такая справка, стремились стать на учет Посредрабиса, и в учреждение на Ланжероновской улице постоянно проникал разного рода люд, не имеющий ровно никакого отношения к искусству.

Время от времени здесь проводилась переквалификация, нечто вроде чистки: каждый состоящий на учете артист обязан был на сцене театра, перед лицом авторитетной комиссии спеть, станцевать, продекламировать или показать свой номер.

Переквалификации вызывали неимоверные волнения, и иной раз благодаря им удавалось избавиться от некоторого количества проституток, жуликов, «бывших» и сутенеров, проникших на учет.

Товарищ Сажин занял положенное ему место в кабинете за стеклянной перегородкой.

Подойдя к жесткому креслу, стоящему за письменным столом, он тщательно протер бумажкой сиденье, затем протер стол, выбросил бумажку в корзинку и только после этого сел.

Такую процедуру Андриан Григорьевич проделывал всюду и постоянно. Что это было — брезгливость, опасение испортить свои галифе и порядочно поношенный френч? А может быть, просто глупая привычка педанта... Он никогда, даже и в сложной фронтовой обстановке, не пил воду, не помыв или хотя бы не протерев кружку. Сняв вечером сапоги, он их чистил и устанавливал ровно — один к одному, как если бы они стояли в строю.

Итак, товарищ Сажин уселся в кабинете и начал знакомиться с делами подведомственного ему Посредрабиса.

Полещук лениво, но добросовестно объяснял ему что к чему, показывал картотеки и списки, формы и бланки, но начиная с десяти часов их занятия начали прерывать телефонные звонки.

А еще через некоторое время стало вообще невозможно ничем заниматься, ибо не только помещение Посредрабиса, но и тротуар и мостовую перед ним заполняла густая масса людей, у каждого из которых было какое-нибудь дело к заведующему.

Сажин поминутно нажимал кнопку звонка, вызывал Полещука.

Секретарь отрывался от работы, от составления какой-нибудь неотложной ведомости и шел в стеклянный кабинет выручать шефа, который не знал людей и плавал в их проблемах.

Жара в помещении стояла невыносимая; сочетание июльского солнца, безжалостно шпарившего в окна, испарения сотен тел, сбившихся тут, удушливый запах духов от «Лоригана» Коти до дешевого цветочного одеколона, дым папирос, сигар и трубок — все вместе было невыносимо.

Сажину казалось, что он вот-вот хлопнется в обморок.

К его столу вперемежку с нормальными, вежливыми посетителями подходили какие-то крикливые, чего-то требующие люди.

Затем, расталкивая всех, ворвалось нечто невообразимое — казалось, явилась сама смерть, раскрашенная румянами, белилами и губной помадой.

Одетая в кокетливое кружевное платье, как кисейная барышня давно прошедших времен, вся звенящая поддельными драгоценностями — бесчисленными браслетами, брелоками, ожерельями и серьгами, старуха оперлась о край сажинского стола пальцами, сплошь унизанными кольцами, и, легко подпрыгнув, уселась на стол.

Она выхватила из-за корсажа пожелтевший, облезлый страусовый веер, распахнула его и, обмахиваясь, вдруг запела гнусавым голосом:

Ах, если я была бы птичкой,
Летала б с ветки я на ветку...

Сажин замер, откинувшись на спинку кресла, и с ужасом смотрел на нее.

Это было его первым знакомством с полусумасшедшей старухой, бывшей некогда до революции кафешантанной певицей.

Она являлась таким манером почти каждый день и требовала, чтобы ее поставили на учет и включали в программы концертов.

— У меня большой репертуар,— говорила она.— «Выше ножку, дорогая», «Хочется» — это ведь беспартийные песенки, не против Советской власти...

Полещук, услышав знакомый голос, поспешил в кабинет Сажина и выдворил старую шансонетку за дверь.

Один за другим являлись представители клубов, летних площадок и ресторанов.

Приходили помрежи с кинофабрики с заявками на массовки. Приходили актеры с сотнями своих дел.

У Сажина голова шла кругом от этого непрерывного движения.

По каждому поводу ему приходилось вызывать Полещука и вместе с ним принимать решения.

К счастью, наступило наконец время обеденного перерыва, и Сажин, сложив в строевом порядке все, что было на столе — ручку, чернильницу и пресс-папье,— аккуратно приставив на место стул, вышел на улицу, вдохнул свежий воздух.

Он шел по улицам Одессы, нэповской Одессы, где по торцам Дерибасовской не так давно снова вызывающе застучали подковы «лихачей». Ухоженные рысаки (и откуда только взялись?), эффектно перебирая сильными ногами, везли лакированные пролетки на бесшумных «дутиках».

В них сидели, развалясь, упитанные нэпманы (откуда только они возникли после гражданской войны, военного коммунизма, голода и лишений?).

Нэпманы катали своих крашеных, мясистых женщин, и за пролетками тянулся дымок сигар и одуряющий запах французских духов.

Занятые своими делами, прохожие не обращали внимания на высокого человека в очках, который строго вышагивал в своем старом френче, с обшитыми защитного цвета материей военными пуговицами, в диагоналевом командирском галифе и тщательно начищенных сапогах.

Он шел по Екатерининской улице, мимо оживших кафе Робинà и Фанкони, где с утра до ночи за столиками «делались дела».

Тут можно было купить и продать все: доллары и франки, фунты, пезеты и лиры, сахарин и железо, мануфактуру и горчицу и даже вагон ливерной колбасы.

Одни нэповские персонажи были одеты в сохранившиеся люстриновые пиджаки и «штучные» брюки в полоску, на головах у них красовались котелки и канотье; другие, приспосабливаясь ко времени, щеголяли в новеньких френчах, кепках и капитанках. А из-под этих капитанок выглядывали физиономии новых буржуев.

Эта публика, правда, только прослаивала основную массу прохожих — трудовой люд Одессы, служащих, рабочих. Но своей броскостью, наглым контрастом с очень скромно, если не бедно одетыми людьми они создавали этот нэповский колорит, нэповскую атмосферу города.

На углу Дерибасовской Сажину преградил дорогу, выставив вперед свой ящик, мальчишка — чистильщик обуви.

— Почистим? — выкрикнул он и затараторил скороговоркой: — Чистим-блистим, натираем, блеск ботинкам придаваем...

Щетки забили виртуозную дробь по ящику.

Сажин смотрел на хитроглазого, грязного, курчавого мальчишку с глубоким шрамом от уха до подбородка.

Мальчик, перестав стучать, тоже посмотрел на него и вдруг обыкновенным голосом сказал:

— Товарищ командир, давайте задаром почищу...

Сажин нахмурился.

— Спасибо, брат. Не нужно.

И пошел дальше.

Кажется, не было ни одного перекрестка в Одессе, ни одного подъезда гостиницы или учреждения, где не расположились бы мальчишки-чистильщики, выбивающие щетками барабанную дробь.

Мальчишки-папиросники, торгующие поштучно папиросами, мальчишки — продавцы ирисок и маковников... Все это великое воинство, в котором смешались дети бедняков, подрабатывающие на жизнь, и беспризорные дети, сироты, оставленные войнами, все это подчинялось тем «принципиальным» беспризорникам, что жили «вольной» жизнью, отрицали труд, баню и милицию, пытавшуюся их устроить в детские колонии.

Сажин поглядывал на мальчишек и думал о том, как бесконечно трудно будет ликвидировать это страшное наследие войны.

Маленькая закусочная, куда Сажин вошел, была полна посетителей.

В углу нашлось свободное место.

Сажин осмотрел сиденье стула, затем протер его принесенной тряпочкой.

Этой же тряпочкой протер часть столика перед собой, затем аккуратно сложил и спрятал тряпочку в карман.

Соседи по столу — три здоровенных, громоздких грузчика — с удивлением уставились на него.

Толстая, сонная женщина в несвежем фартуке подошла к столику и сказала:

— Ну, чего?

— Три стакана чая,— ответил Сажин.

— И все?

— И все.

Женщина пожала плечами и ушла, сказав:

— Царский заказ.

Сажин развернул принесенный с собой небольшой пакетик. Там лежали два бутерброда с брынзой на сером «арнаутском» хлебе.

Официантка принесла чай, поставила перед Сажиным три стакана без блюдец и ложечек и сказала:

— Нате вам.

Сажин сразу расплатился и принялся за завтрак.

Грузчики перестали обращать на него внимание и ели свои порции горячей свиной колбасы с жареной картошкой, запивая светло-желтым пивом.

К концу обеденного перерыва, минута в минуту, Сажин вошел в Посредрабис.

На этот раз Полещук уже сидел на месте.

Андриан Григорьевич прошел в кабинет, отодвинул стул и, внимательно осмотрев его, сел.

Он достал из нагрудного кармана френча желтый жестяной портсигар, раскрыл. Самодельные папиросы лежали ровными рядами — справа и слева по шесть штук.

Сажин взял одну, размял и закурил, чиркнув зажигалкой, сделанной из винтовочного патрона.

Врачами курение было ему категорически запрещено, и Андриан Григорьевич себя жестко ограничивал. Первую папиросу он разрешал себе только после обеда.

Содержимого портсигара — 12 штук должно было хватить на два дня.

Самодельные папиросы он считал менее вредными, чем фабричные. А главное, дешевле получалось.

Покупались гильзы и табак. Пергаментная бумажка, вырезанная особым образом, прикреплялась двумя кнопками к столу или к подоконнику. При помощи этой скручивающейся бумажки и деревянной палочки гильзы заполнялись бурым табаком третьего сорта.

Сажин с наслаждением курил свою самоделку, откинувшись в кресле и вытянув ноги.

Вошли первые посетители.

Так началась новая жизнь Андриана Григорьевича Сажина — бывшего учителя, бывшего военкома, члена большевистской партии с апреля месяца 1917 года.

Сажин жил холостяком, потом ненадолго женился. Неудачная была женитьба, и хорошо,



что эта история скоро кончилась. Случилось это во время работы Сажина в наробразе.

Однажды повстречал его бывший комэск, человек отчаянной храбрости, кавалерист, рубака, имеющий много военных заслуг, но еще больше неприятностей за всяческие выходки и в конце концов уволенный из армии. Звали его все Колей в глаза и за глаза, а по-настоящему был он Николаем Николаевичем Бессоновым.

Увидев Сажина, Коля Бессонов бросился к нему, обнял, расцеловал и, не слушая никаких возражений, потащил за собой в какую-то квартиру, где устраивался великий сабантуй. Через час в квартире стоял густой табачный дым, кто-то бренчал на фортепьяно, какие-то штатские личности, изрядно набравшись, пытались петь военные песни.

Коля заставил Сажина выпить стакан спирта, тот чуть не задохнулся и стал сползать со стула, выпучив глаза и схватившись за горло. Однако дыхание восстановилось, но дальше Сажин уже не помнил ничего. Проснулся он утром в какой-то проходной комнатенке. Серый рассвет скудно освещал странное зрелище: Сажин лежал на чьей-то бурке, расстеленной на полу, рядом с ним, положив ему голову на плечо, спала женщина. Ровно никаких воспоминаний не возникало у Сажина, сколько он ни напрягал память. Как он здесь очутился, что происходило ночью, кто эта женщина, было ли что-нибудь между ними или она просто мирно спала рядом?.. Ничего, ровно ничего — никаких воспоминаний.

Когда женщина проснулась, оказалась она миловидной Веркой, что жила в одном доме с Сажиным. Часто видел он ее проходящей по двору и не однажды слышал, как жильцы и дворник честят эту Верку самыми последними словами.

Верка проснулась и встала. Как ни неопытен был Сажин, но по некоторым деталям ее поведения он понял, что ничего между ними ночью не произошло. Однако положение было щекотливое. Все участники сабантуя разошлись.

На улицу Сажин вышел вместе с Веркой.

Когда они подошли к дому, Верка спросила:

— Может, я к тебе пойду? А то мать опять заругается...

Так она переселилась к Сажину. Он уступил ей кровать, спал на тюфячке и вел себя по-джентльменски. Они прожили две недели — вместе и не вместе. А двор бурлил, каждому надо было высказаться по поводу скандальной ситуации: коммунист Сажин с такой шалавой схлестнулся. Одна только Веркина мать относилась к этому событию равнодушно: пила вмертвую, и наплевать ей было на все на свете.

Сажин пренебрегал дворовым общественным мнением, однако именно оно, вернее, протест против него, побудил Сажина через две недели зарегистрироваться с Веркой. Она была очень довольна и сказала, что с плохой жизнью покончено навсегда.

Отношения с Сажиным после этой свадьбы оста-

лись точно такими же: вместе и не вместе. Он ничего не предпринимал, чтобы стать ее мужем фактически, а не только «де-юре». Она же, не обращая никакого внимания на него, закрутила с одним из сажинских сослуживцев по Политпросвету, потом с другим, третьим. И была Верка совершенно неудержимой — говорить с ней не имело никакого смысла.

Прямой начальник Сажина, старый партиец, отвел его однажды в сторону и тихо сказал:

— Ты что — дурак, что ли? С кем связался?

Жизнь Сажина стала адом. На работе он боялся встретиться взглядом с кем-нибудь, избегал разговоров с товарищами. В доме он служил мишенью для насмешек дворовых сплетниц.

Все усилия Сажина перевоспитать Верку ровно ни к чему не приводили. Ни приохотить ее к чтению, ни просто разговаривать с ней было невозможно. Она валялась по целым дням в кровати и жрала семечки, заплевывая комнату лузгой. Как ни странно, но не столько все перенесенные из-за нее унижения, не ревность даже, а вот эта лузга, что покрывала пол, и одеяло, и ночной столик, и книги и попадала даже в сапоги Сажина,— эта чертова лузга вызвала у педантично чистоплотного Андриана Григорьевича взрыв протеста.

— Уходите вон! — сказал он.— И чтобы я вас больше никогда не видел!

— И хорошо,— ответила Верка,— осточертел ты мне хуже смерти: туда не брось, сюда не сори...

Она совершенно безразлично собрала свои вещички и ретировалась. Сажин два дня мыл пол, выколачивал матрац, белил стены и потолок и успокоился только, когда из комнаты окончательно ушел запах Веркиной дешевой парфюмерии.

С тех пор жил Сажин холостяком. В Одессе ему выдали ордер на небольшую комнатку на Торговой улице.

Был у комнатки даже балкончик, и можно было, сидя на нем, с высоты второго этажа наблюдать за жизнью улицы.

Когда-то комната эта составляла часть квартиры зубного врача. Он и теперь жил в этой же квартире, в оставленных ему двух комнатах, и на жильцов трех других комнат, вселенных по ордерам, смотрел как на варваров-завоевателей, как на своих личных врагов.

Сажин готовил себе пищу в общей кухне на примусе. Хлеб, восьмушку фунта масла и четверть фунта брынзы он покупал в лавочке через дорогу. На примусе раз в неделю варил постный суп. Изредка в кастрюлю попадал и кусок мяса.

В Посредрабисе дел было невпроворот. К повседневным заботам: формированию концертных бригад, трудоустройству технического персонала, организации выступлений и поездок на коллективных началах, на «марках» вместо твердых ставок, к разбору бесконечных трудовых конфликтов — прибавились еще киноэкспедиции.

Две из Ленинграда и московская экспедиция «1905 год» во главе с молодым режиссером Эйзенштейном.

Все экспедиции обращались в Посредрабис за актерами. Однако брали они на съемки не только тех, кто был зарегистрирован как артист, но и билетерш, контролеров, киномехаников — всех, кто подходил по типажу. Даже сам Полещук, подрабатывая, несколько раз снимался в «групповках», которые оплачивались выше массовки. Кому повезет, получал даже маленькую роль — «эпизод», за это платили еще больше. В заработке нуждались все, и приехавшие экспедиции очень оживили атмосферу в Посредрабисе.

Но дела, связанные с кино, доставляли Посредрабису и много неприятностей. Помрежи Одесской кинофабрики и приезжие московские кинематографисты требовали, чтобы Посредрабис давал им широкий выбор «натурщиков» и, следовательно, брал для этого на учет людей, никакого отношения к искусству не имеющих, просто ярких, интересных по внешности, по типажным данным.

Это противоречило уставу Посредрабиса, у которого была номенклатура специальностей. Были в этой номенклатуре и киноартисты, но как можно было зачислить в киноартисты какого-нибудь грека-сапожника только потому, что у него был неимоверный нос-баклажан, глаза, как гигантские маслины, и сеть морщин, покрывающая черно-коричневое лицо и шею. Куда зачислишь мрачную портовую девку с вечно пьяной рожей? Между тем киношникам — хоть убей — требовались такой грек и именно такая девка. Помрежи в обход закона брали народ прямо с улицы.

Для группы Эйзенштейна людей искал кто-нибудь из его «железной пятерки» — пяти ассистентов. Они игнорировали состоявших на учете Посредрабиса профессиональных артистов. Их интересовал только типаж, внешние данные человека. Поэтому они набирали чаще всего не актеров, а билетеров, костюмерш, музыкантов — народ, совсем не искушенный в актерском искусстве.

В то время, снимая немые фильмы, Эйзенштейн исповедовал им самим открытую теорию «беспереходной игры». Это означало практически, что человека снимали только в момент какого-то его состояния, скажем, испуга, ужаса, любопытства, гнева. Привести типаж, натурщика в нужное для данной сцены, точней, для данного «куска», состояние было несложно. А вот провести сцену, сыграть ее такой человек, конечно, не смог бы. Он способен был только выполнить однозначное задание режиссера. Эйзенштейн же из таких кусков, из отдельных кадров монтировал целое — сцену, эпизод, всю картину.

Это было абсолютно ново, и никто, в том числе и ближайшие сотрудники Эйзенштейна, не мог еще предвидеть результаты его открытия. Ныне результат известен: это были съемки «Броненосца «Потемкин», картины, которая тогда, во время работы, называлась еще «1905 год».

Однажды Сажину позвонили из отделения милиции.

— Тут мы одну вашу задержали... Справка у нее, состоит будто бы у вас на учете, а на самом деле занимается спекуляцией... Нехорошо получается, товарищ Сажин, нетрудовой элемент прикрываете... Семечками, понимаешь, торгует на базаре.

Подняли картотеку. Оказалось, речь идет об одной безработной билетерше, которая действительно состояла на учете Посредрабиса. Вызванная на следующий день к Сажину, она призналась, что действительно торгует семечками. Как иначе проживешь с двумя детьми... Была эта женщина с измученным, некрасивым лицом, с затравленным, недобрым взглядом Сорокина Клавдия, по виду лет сорока пяти, а на самом деле по учетной карточке было ей всего тридцать лет. Видимо, жизнь так приласкала.

Сажин прочитал карточку: на учете она состояла давно, но на работу по специальности, как билетер, направлялась только дважды и то временно — один раз на месяц в летний кинотеатр и другой раз в оперу взамен заболевшей билетерши на восемнадцать дней. Да еще на киносъемки изредка ее брали... и вот два дня назад группа Эйзенштейна, которая что-то снимала на одесской лестнице, тоже ее брала...

Жить на такие заработки было действительно невозможно.

Но правила...

— Придется вас снять с учета, товарищ Сорокина,— сказал Сажин.

— Как это снять? Какое вы имеете полное право снимать меня?

— На это я право имею, а вот держать на учете торговку права не имею.

— Это я торговка? Совесть есть у тебя? Мне детей кормить надо. Если воровать придется, воровать пойду, не задумаюсь. У тебя, небось, своих нету. А если есть, ты на свои тысячи прокормишь...

— Товарищ Сорокина, я на вас не обижаюсь, но оставлять на учете не могу. Понимаете, не могу.

Он сделал отметку красным карандашом на ее карточке: «Снять с учета»— и отложил карточку в сторону.

Клавдия Сорокина, увидев это, подскочила к нему, истерически крича:

— Убийца! У детей кусок хлеба изо рта вырываешь! Вот, вот они...— Сорокина распахнула дверь и, схватив за руки ожидавших там двух девочек-заморышей лет по пяти, втащила их в кабинет.— На, убивай их, подлец! Убивай! Вот, дети, смотрите на своего палача! Плюю я на тебя! Плюю на твою поганую рожу! Тьфу! Тьфу! Тьфу!..

Она в самом деле плевала ему в лицо, а Сажин продолжал сидеть, не отворачиваясь, не закрываясь.

В кабинет вбежали Полещук и посетители. Они оттащили женщину, но она продолжала кричать Сажину:

— Чтоб ты сдох в муках, проклятый, чтобы все твои дети сдохли, чтоб тебя гром разразил, чтоб ты чумой заразился!..

Наконец женщину вместе с испуганными, плачущими детьми вытащили из кабинета, но ее крики еще долго доносились из соседнего помещения — из «зала» и потом с улицы.

— Нет, товарищ Сажин,— ответил ответственный работник окружкома партии сидящему перед ним Андриану Григорьевичу,— освободить вас мы не можем. Посредрабис внешне, может быть, выглядит этаким не очень серьезным учреждением — какие-то там на учете иногда совсем неуважаемые лица, но поймите — это огромная масса безработных, на которых могут влиять, пользуясь их недовольством, враждебные элементы. Вы отвечаете за моральное состояние этой массы. Вы опытный политработник, и мне вас учить незачем. Пройдет время — посмотрим. А пока...

Однако на следующий день Сажину предстояло новое испытание. Возвратясь после обеденного перерыва, он застал у себя в кабинете броского вида девицу в шелковом платье с глубоким вырезом.

— Вы будете товарищ Сажин? — спросила владелица умопомрачительного декольте.

— И буду и есть,— буркнул Андриан Григорьевич.— Какой у вас вопрос?

Девица оглянулась и прикрыла дверь.

— У меня деликатное дело, я должна поговорить с вами тет-а-тет.

С этими словами она пододвинулась к Сажину, уперлась в него большими, твердыми грудями и подняла лицо — довольно красивое, надо признать. Сажин вспыхнул и попытался отодвинуться. Но за ним оказался шкаф. Сажин был прижат к шкафу, а груди продолжали пружинно теснить его.

— Я прошу,— шептала яркая девица,— вы должны это для меня сделать...

— Э... э...— бормотал Сажин, покрываясь испариной,— собственно, что вы хотите?..

Вдруг девица прижалась к нему всем телом и, жарко дыша в самое ухо, что-то зашептала. Комната завертелась перед Сажиным. А девица все шептала и шептала, и он, наконец, расслышал обрывки слов:

— ...Натурщица... позирую художникам... учет... номенклатура... Понимаешь, мне нужно стать на учет... а говорят, нет такой номенклатуры... Ты должен это сделать...

Сажин погибал, и вдруг явилось спасение — раздался резкий телефонный звонок. Натурщица отскочила, и освобожденный Сажин замахал рукой.

— К Полещуку, к Полещуку...

Взяв трубку телефона, он опустился в кресло.

— Сажин, ты?..— сказала трубка, но Андриан Григорьевич не в силах был ответить: комната шла еще кру́гом, ноги дрожали, дыхание перехватывало.

— Алё! Сажин! Алё!..

Наконец ему удалось произнести:

— Слушаю...

— Здорово, Сажин. Это из горсовета — Толмачев. Есть дело, не заглянешь ко мне?

— Хорошо, сейчас зайду,— слабым голосом ответил Сажин.

— Ты что там — не приболел часом?

— Нет, нет, все в порядке. Сейчас иду.

Он шел по улице на все еще дрожавших ногах, бедняга Сажин, никогда в жизни еще не прикоснувшийся к женщине, потрясенный открывшимся ему неведомым чувством.

В Посредрабисе наступило некоторое затишье. Киноэкспедиции разъехались. Дело шло к осени.

Сажин организовал политкружок и вывесил стенгазету, которая бичевала в сатирическом плане участников «левых» концертов. С делами Посредрабиса Андриан Григорьевич освоился и давно уже решал их сам, не прибегая к советам Полещука.

Однажды в кабинет к Сажину вошел могучий грузчик из числа «типажников», состоящих на учете.

— Побалакаем, начальник.

Комната наполнилась запахами смолы, пота и спиртного перегара.

— Что вам угодно? — спросил Сажин.

— Зачем ребенка обижаешь, начальник?

— Присядьте, пожалуйста. Какого ребенка? О чем вы говорите?

Грузчик сбросил пальцами пьяную слезу.

— Сирота она у меня. Мать в тифу померла. А я какой отец? Водку хлестать да мешки таскать. Я же рабочий человек с под мешка. Не интеллигент, кажется, какой-нибудь...

Сажин нетерпеливо сказал:

— Извините, но у меня сейчас мало времени. Я занят. Объясните сразу ваше дело.

Грузчик громко икнул.

— Дело... Девчонка работает по ицкуцтву, а ее на учет не ставят. Это как, по-вашему? Справедливо? По человечеству справедливо?

Дело стало понемногу проясняться. Видимо, речь шла о Кларе-натурщице.

— Ваша дочь натурщица, кажется? Она художникам позирует?

— Вот, вот. Платят хорошо, мы не жалуемся. Только ей надо законно, чтобы там милиция или домком...

— К сожалению, это невозможно,— сказал Сажин,— ничем не могу помочь. У нас такой статьи нет — натурщицы.

— А ты заведи статью, начальник.

— Не имею права. Понимаете? И, извините, сейчас я занят...

Грузчик наливался злобой. Широкое его лицо темнело и краснело.

— А я говорю: заведешь статью.

— Не болтайте глупостей. И оставьте меня. Я занят.

Сажин заметил, что в щели приоткрывшейся двери появилась обеспокоенная физиономия Полещука.

Грузчик обошел стол и приблизился к Сажину вплотную.

— А я говорю: заведешь. Не то пожалеешь. Крепко пожалеешь.

— Пожалуйста, не угрожайте мне.

— Милицию будешь звать? Да я из тебя баранью котлету сделаю.— И грузчик стал закатывать правый рукав спецовки.

— Нет,— сказал Сажин,— милицию звать не буду.

Он встал, снял очки, протер стекла, положил очки аккуратно на стол, крикнул:

— Полещук! Откройте дверь!

И нанес грузчику два быстрых, коротких удара левой под ложечку, правой под подбородок, и тот вылетел в открытую в этот момент Полещуком дверь.

— Убрать его отсюда к чертовой матери! — сказал Сажин.

Полещук выставил грузчика на улицу и, захлопнув дверь, вдруг, к радости находившихся в зале посетителей, сделал переднее сальто, затем заднее сальто и прошелся по Посредрабису колесом.

Это было так неожиданно, так забавно, так не вязалось с нынешней внешностью запущенного, нестриженого, неуклюжего Полещука,— все прочно забыли о том, что он циркач, что Полещук некогда был Арнольдом Мильтоном.

Ему зааплодировали, Полещук сделал цирковой «комплимент» и сказал:

— Вуаля!

В начале зимы в занесенную снегом Одессу привезли кинокартину «Броненосец «Потемкин».

Картина потрясла одесситов. «Броненосец» с огромным успехом шел у нас и за границей, но, вероятно, нигде картину не смотрели с таким волнением, как в Одессе.

И то, что действие ее происходило в их городе, и то, что множество живых свидетелей событий сидели в креслах кинотеатров, и то, что в эйзенштейновском фильме жила подлинная атмосфера Одессы... Да, вероятно, нигде на свете нет и таких чувствительных зрителей, как в Одессе. Зрительные залы содрогались от рыданий, когда на экране хоронили Вакулинчука, и в ужасе кричали, когда по одесской лестнице катилась коляска с младенцем и солдаты расстреливали толпу.

В нэповской спокойной Одессе «Броненосец» взорвался, как бомба.

Картина захватила всех поголовно. В залах кинотеатров плакали не только те, кто по социальному своему положению сочувствовал революции — рядом с ними плакали и нэпманы и одесские «люди воздуха», которым, казалось бы, ни до чего и ни до кого нет дела.

Это была та самая могучая сила великого искусства, что заставила позднее поклониться «Броненосцу» весь мир, включая и ярых противников тех идеалов, за которые боролась картина.

Чувства людей уже не зависели от них. Их вел гений.

Но самое великое потрясение испытали участники съемок — те самые посредрабисные кадры, что снимались в картине. Они смотрели на экран и узнавали и не узнавали себя. Они вдруг стали фактом истории, их лица были лицами героев «Потемкина», героев Одессы 1905 года, героев Революции!..

Это потрясало их...

Все эти безработные маленькие актеры, рабочие сцены, кассиры, билетеры и просто типажники увидели вдруг себя и своих товарищей в каком-то новом, тревожащем, непонятном им измерении. Неужто это они, те самые одесские обыватели, что еще сегодня утром торговались на базаре, ссорились, беспокоились о хлебе насущном, бывали грубы с детьми? Неужто же это они, герои революционных событий, люди на экране, ставшие образами великого народного движения?..

Потрясенные до глубины души, с заплаканными глазами выходили они из кинотеатра и, встречая своего товарища, такого же безработного бедолагу, которого увековечил Эйзенштейн, смотрели на него удивленно-уважительно, смотрели уже не как на давным-давно известного, ничем не примечательного и довольно склочного кассира, а будто на значительное существо из другого мира.

Они притихли и наутро следующего дня, встречаясь перед Посредрабисом, совсем по-иному, чем обычно, смотрели друг на друга, иначе здоровались, по-иному разговаривали.

Билетер Бродский перед тем, как войти в Посредрабис, долго стоял перед витриной, рассматривал свое изображение, разглаживая усы, снимая и снова надевая на голову изрядно пожелтевшее канотье. Выражение удивления и самоуважения не сходило с его лица: он больше не был безработным билетером Бродским — витрина отражала персонаж великой трагедии «Броненосца «Потемкин».

Но, пожалуй, больше всего был поражен этим превращением людей Сажин, просидевший в зале два сеанса подряд. Организованный, педантичный, он столкнулся с чем-то, что требовало взлета, иного масштаба мыслей и чувств.

Он видел на экране знакомых, изрядно поднадоевших вечными жалобами и просьбами людей, но то были уже не они. А может быть, именно это их истинное содержание или такими они могли стать, а то, что виделось в жизни,— шелуха, оболочка?..

Вот Клавдия Сорокина в эпизоде расстрела на одесской лестнице. Эта невзрачная женщина стала на экране прекрасной. Откуда явилась такая одухотворенность да и красота, эта таинственная красота?..

Из отдельных статических или почти неподвижных ее кадров, из состояний — вызова, гнева, ужаса, отчаяния, гибели — гений Эйзенштейна создал образ потрясающей силы. Сажин отгонял от себя мучительное воспоминание о своем жестоком поступке, но снова и снова являлась ему эта женщина с двумя маленькими детьми, которых она защищала. И в его сознании эти два образа соединились в один — героический облик женщины на белом полотне экрана.

Сажин ходил в кинотеатр каждый день. Это стало для него необходимостью. И, хотя он знал теперь весь фильм кадр за кадром, каждый раз он смотрел его с таким же волнением, как и весь зрительный зал. Быть может, то, что он знал, какой именно сейчас появится кадр, еще больше накаляло его волнение и ожидание.

«Броненосец «Потемкин» был для Сажина не только великим произведением искусства — он стал

красным флагом, утверждением всего, что было свято для Сажина. Это был символ самой Революции, ворвавшейся в нэповскую атмосферу города, освежающий дождь, гроза, которую ждала природа.

Хоть коммунист Сажин и понял необходимость нового курса партии, но, приняв, все равно не мог спокойно относиться к внешним проявлениям нэпа, к той мути, что возникала на каждом шагу.

И вдруг — «Броненосец»!..

И всякий раз, смотря картину, Сажин нетерпеливо ждал встречи с той женщиной на лестнице, что была в одно время и героиней, расстреливаемой на экране царскими солдатами, и Клавдией Сорокиной, безработной билетершей из Посредрабиса.

Однажды, подойдя к Полещуку, он спросил:

— У нас сохраняются карточки снятых с учета?

— Ну, а как иначе? — ответил Полещук.— Вам кто нужен?

— Они у вас в отдельном ящике? Дайте мне весь ящик.

Полещук дал ему фанерный ящичек и с недоумением посмотрел вслед.

Зайдя в кабинет, Сажин прикрыл дверь, поставил перед собой на стол ящик с учетными карточками.

Их оказалось довольно много — по тем или иным причинам снятых с учета безработных. В большинстве это были не прошедшие переквалификацию, некоторое количество просто «нежелательного элемента». Были тут и администраторы, которые устраивали «левые» концерты.

Все это лежало в алфавитном порядке. Сажин вынул карточку Сорокиной. По диагонали красным цветом горели слова «Снять с учета» и его, Сажина, подпись.

Сейчас красная эта резолюция читалась как обвинение, беспощадное обвинение ему, Сажину, в бесчеловечности.

Он прочел все ничтожные, ничего не говорящие о человеке анкетные ответы на вопросы.

— Вызовите, пожалуйста, эту Сорокину,— сказал он Полещуку, возвращая ящичек и отдельно карточку Клавдии Сорокиной.

Вызов был послан, но шли дни, а Сорокина не появлялась.

Послали еще один вызов. Не пришла.

Сажин списал с карточки адрес Клавдии Сорокиной и отправился ее разыскивать. Он не пытался объяснить себе, почему так нужно, так неимоверно нужно было ему найти эту женщину. Конечно, он чувствовал себя виноватым и хотел загладить вину. Да, это так. Но было еще и нечто иное, чего он сам не понимал, нечто куда более важное, обязательное.

Он чувствовал, что если найдет, если она будет рядом с ним, что-то разрешится, разъяснится для него самого. Теперь не было для Сажина ничего более значительного в жизни, чем отыскать Сорокину и ее девочек.

Пересаживаясь с трамвая на трамвай и все более тревожась, он добрался наконец до окраинной улочки, обозначенной в учетной карте.

Кривые и косые домишки соревновались тут в нищей живописности.

Сажину указали на старую халупу, стоящую в глубине двора за развалившимся забором.

На стук в дверь никто не ответил, но из глубины двора появилась старуха с топором в руке.

— Клавка? Съехала. Давно съехала.

— Куда? Не знаете?

— Нет, милый, того не знаю. Не платила за квартиру — сколько ей ни говорю, а она: тетя Даша да тетя Даша, потерпите,— нету, ну, нету денег... Я вижу, что нет, терпела, да всякому терпежу ведь конец бывает...

— Она, может быть, тут же в Одессе — перебралась куда-нибудь.

— Нет, милый, нет. Очень ее участковый донимал... Куда-то она поехала доли искать. Наймусь, говорит, в горничные... А кто ее с двумя добавлениями возьмет... Ты не родичем ей приходишься? Тут карточка на стене осталась... так и висит...

Старуха провела Сажина в пристройку — тесный сарайчик с крохотным, в ладонь, окошком. Земляной пол. Топчан. В углу солома, покрытая рядном.

— Здесь жила?

— Здесь, милый, здесь.

На стене — прикрепленная булавкой цветная рождественская открытка: елка, веселые дети вокруг нее, и Дед Мороз с мешком подарков.

— Возьми карточку. Ежели увидишь, отдай. Поверишь, с нее даже за таблетки не взяла. Сонные таблетки я ей у провизорши нашей доставала. Девчонкам она их давала и сама примет. Чтобы, значит, спать. Кушать чтобы не хотелось!..

Сажин взял открытку. На обороте не было ничего написано — чистенькая открыточка.

Попрощался. Ушел.

Никогда прежде не снились Сажину сны. Он засыпал сразу, только коснувшись головой подушки. Сразу же и наступала темнота.

А тут начало сниться. Да все одно и то же. Одно и то же. Приходит будто бы к нему та женщина — не Клава Сорокина, а та, с экрана, и вся светится, держит на руках младенца. И просит о чем-то, но слов нет, только шевелит губами и просит.

Хочет Сажин ответить ей, хорошо хочет ответить, но голос пропал, и он не может ничего сказать.

Женщина плачет. Нужно ее утешить, но — мучительное чувство — все так же нет голоса. Даже горло болит от напряжения.

И вот один из таких снов был прерван громким стуком в дверь. Наспех надев очки и завязав тесемки кальсон, Сажин открыл дверь.

Бывший квартирохозяин, а ныне сосед — зубной врач — стоял за дверью.

— Я очень извиняюсь, но вас спрашивает вот этот, не знаю, товарищ или господин...

К Сажину метнулась какая-то фигура, зажала его в железных руках:

— Здорово, Бебель-Гегель!

Так называл его только один человек на свете — Сева Туляков, командир эскадрона, друг Сева. Называл, подшучивая над его граничащей с чудачеством слабостью к первоисточникам.

Зашли в комнату, то обнимаясь, то похлопывая друг друга по плечам.

— Вот ты куда спрятался...— осматривая голые стены, сказал Туляков.

— А ты, вижу, совсем обуржуазился...

Сажин разглядывал друга — тот был в хорошем сером костюме, на руке плащ. Новые коричневые ботинки...

— Да, чистый Чемберлен,— смеялся Туляков.— Махнем куда или тут у тебя в берлоге засядем?

Натянул Сажин галифе, сапоги, френч, и пошли они с другом Всеволодом Туляковым в город.

Было это в воскресенье. Сажин свободен от своего Посредрабиса, а Тулякову только утром являться по делам.

Начались расспросы да воспоминания.

Всеволод рассказывал о себе. После демобилиза-

ции пошел он по прежней своей специальности — шофером. Попал в большое учреждение, водил легковой автомобиль марки «Австро-Даймлер», возил очень ответственного товарища.

Тут устанавливаются у нас дипломатические отношения с одной буржуазной страной и ответственного, что возил Туляков, назначают туда торгпредом. Он забирает с собой в качестве шофера — Всеволода. Попав за границу, Туляков пересел на торгпредский «Бенц». Все было бы хорошо, освоил Туляков новый город, освоил «Бенца», но одно обстоятельство не давало жить. Приходилось дежурить у торгпредства, сидя за рулем и ожидая выезда. А тамошние контрики и наши белоэмигранты идут мимо и бросают в советского шофера то гнилые помидоры, то сырые яйца... Машина открытая, куда спрячешься... Отвечать нельзя. Наклоняться, хоть голову спрятать — недостойно как-то. Сидишь, как памятник, а тебе в рожу летит всякая пакость... течет по лицу... Надумал наш торгпред, понимаешь, машину в красный цвет выкрасить, да герб на дверках хотел для пропаганды... Смешно...

Полицейский видит все это — руки за спину и подальше, куда-нибудь за угол... Месяц такой жизни вынес, выстоял Туляков, а потом пошел к торгпреду в кабинет и — на колени. «В жизни,— сказал,— на колени не становился, а теперь стою — довели. Отпустите. Не могу больше». Отпустили. Теперь дипкурьер. Работа мирная — тот же почтальон. А в поезде едешь—дверь на замок, пистолет с предохранителя. Все-таки человеком себя чувствуешь. Ну, а ты, ты-то как, друже?..

Они вышли к центру города и невольно остановились у витрины большого ювелирного магазина. Бриллиантовые броши, изумрудные кулоны, жемчужные ожерелья, кольца с огромными драгоценными камнями — все светилось, переливалось в смешении дневного света и электрической подсветки.

— Что ж,— помолчав, сказал Туляков,— все правильно. Пошли.

Однако же на каждом шагу им открывалась то витрина кондитерской с тортом в человеческий рост, то кричащая афиша ночного кабаре с полуголой девицей, застывшей в танце.

Они заглянули в казино, где в первом зале действовала рулетка, а во втором шла — по крупной — картежная игра.

Рулетка «пти шво» была устроена в виде бегов — по кругу бежали игрушечные лошадки с номерами на спине, и, если бы не деньги на зеленом сукне стола и не выкрики «Игра сделана, ставок больше нет», все сошло бы за невинную детскую забаву.

Здесь было шумно, накурено, а во втором зале стояла напряженная тишина. Дореволюционный крупье во фраке, с набриолиненным пробором, ловко загребал лопаткой с длинной ручкой ставки проигравших и пододвигал фишки выигравшему.

В этот зал не проникало солнце, свечи в канделябрах освещали бледные лица, дрожащие руки, глаза, прикованные к зеленому столу.

Сажин и Туляков переглянулись и пошли к выходу.

— Да...—только сказал на улице Туляков. Сажин помолчал.

Каждый из них порознь давно уже видел все эти внешние приметы нэпа. Но теперь, когда они были вдвоем — два бойца Красной Армии, расставшиеся тогда и встретившиеся теперь,— все виделось как бы вновь, будто впервые.

Толстый нэпман, проходя, толкнул Тулякова и прошел, даже не заметив этого.

Сажин знал их по Посредрабису, где они состояли на учете.

— Ничего, ничего. Все правильно,— пробормотал Туляков и обратился к Сажину:

— Слышь, а не выпить нам? Что-то, кажется мне, обязательно нужно выпить...

Сажин достал из кармана френча деньги и стал пересчитывать.

— Да у меня есть,— сказал Туляков,— не надо.

Однако Сажин досчитал и тогда только ответил:

— Пошли.

И они оказались в ресторане. Сели за столик. На эстраде, перекрывая разговоры, смех, стук вилок и ножей, звон бокалов, скрипка и рояль — знаменитый дуэт — играли «Красавицу». Этих музыкантов знал весь город. Они были настоящими художниками, подлинными виртуозами и могли бы сделать блистательную музыкальную карьеру, если бы не ресторан. А в ресторане... Здесь никто не мог так зажечь публику, так взвинтить настроение, как эти артисты.

Пространство перед эстрадой было заполнено танцующими. Особенно старалась одна толстая нэпманша. Вместе с партнером, томным юношей, видимо, состоящим «при ней», эта дама исполняла нечто среднее между модным чарльстоном и грузчицким одесским танцем «Семь сорок».

Партнер старательно, но безуспешно приспосабливался к ее движениям. Нэпманша прыгала, сияла и счастливо выкрикивала:

— Ай, хорошо! Ай, хорошо!

— Все правильно,— зло сказал Туляков.

Официант подал ему меню.

— Во-первых, графин водки,— сказал Туляков.

— Прикажете малый или большой?

— Большой, обязательно большой.

Сажин обеспокоенно спросил:

— А сколько стоит большой?

— Да брось ты,— махнул рукой Туляков,— в общем, графин и закуски, чего там у вас есть?

— Икорки прикажете зернистой? Семужка есть, ассорти мясное, балычок имеется...

— Значит, так,— сказал Туляков,— икру зернистую, семгу, балык...

Официант быстро записывал в блокнот.

— ...и прочее,— продолжал Туляков,— оставьте на кухне...

Официант с недоумением посмотрел на него.

— ...а нам несите селедки с картошкой. Договорились? Да картошки побольше. И масло.

Официант презрительно зачеркнул первоначальный заказ и исчез.

Сажин развернул и осмотрел свою салфетку, затем стал тщательно протирать ею фужеры и рюмки.

— Послушай, Сева,— сказал он,— когда я выпил первый раз в жизни, то из-за этого женился. Интересно, что случится теперь, когда я выпью второй раз...

Туляков усмехнулся.

В зале было полно декольтированных дам — бриллианты в ушах, пальцы унизаны дорогими кольцами. На спинки кресел откинуты соболиные палантины и горностаевые боа..

Мужчины рассматривают чужих женщин, а их женщины исподтишка кокетничают с чужими мужчинами.

«Разрешите пригласить вашу даму?»

«Если она не против, пожалуйста».

Столы заставлены коньяками и шампанским в ведерках со льдом, на посуде «фраже» горы закусок, горят спиртовки под горячими блюдами, носятся по залу лакеи во фраках.

Графин перед друзьями быстро опустел.



Туляков, мрачнея, оглядывал зал и по временам произносил свое:

— Все правильно...

— Да, верно, все правильно, — сердито повторял Сажин. Он жестом подозвал официанта и протянул ему графин: — Повторили!

Музыканты лихо играли, время от времени выкрикивая — и очень музыкально — слова модной шуточной песенки:

Красавица моя,
Скажу вам не тая,
Имеет потрясающий успех.
Танцует, как чурбан,
Поет, как барабан,
И все-таки она милее всех...

Официант быстро принес второй графин.

— Давай, Севка, за Советскую власть...— Сажин налил доверху фужеры и выпил до дна. Вместо дуэта он вдруг увидел на эстраде квартет.

Сажин снял на мгновение очки, и мир превратился в вертящиеся светлые и темные пятна. Закружилась голова. Он снова надел очки, и пятна стали нэповскими рожами и раскормленными телами.

Казалось, клавиши рояля вот-вот разлетятся, брызнут во все стороны под ударами пианиста.

...Моя красавица
Всем очень нравится,
Походкой нежною,
Как у слона...

Сажин вдруг встал, пошатнулся и, одернув френч, твердым шагом направился к эстраде.

— Ты куда? — испуганно крикнул Туляков, но Сажин продолжал идти между столиками — высокий, странный человек в очках. Туляков пошел было за ним, намереваясь удержать.

Но Сажин поднялся по ступенькам и поднял руку. Музыканты растерянно, нестройно смолкли.

Публика в зале, перестав жевать, с недоумением уставилась на странного человека во френче и галифе, вдруг оказавшегося на эстраде. Постояв немного и дождавшись тишины в зале, Сажин вдруг запел во весь голос, дирижируя себе рукой:

Мы — красные кавалеристы, и про нас
Былинники речистые ведут рассказ...

Зал замер. Произошло нечто невероятное, неслыханное, скандальное...

На эстраду, минуя ступеньки, одним махом вскочил Туляков, встал рядом с Сажиным, и они, обнявшись, стали петь вместе:

О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы гордо, мы смело в бой идем.

Странный человек во френче, обнимая одной рукой друга, второй размахивал, дирижируя, и пел.

Музыканты — скрипач и пианист — подхватили мелодию, и теперь буденновская кавалерийская уверенно понеслась над притихшим залом ресторана.

Вдруг какой-то низенький, кривоногий официант поставил на пол, прямо посреди прохода, блюдо, которое нес, вскочил на эстраду и, став по другую сторону, рядом с Сажиным, тоже запел:

...Веди ж, Буденный, нас смелее в бой!
Пусть гром гремит,
Пускай пожар кругом,
Мы — беззаветные герои все...

Сажин и его обнял.

Выбежал откуда-то метрдотель, бросился к эстраде.

— Господа, товарищи... прошу прекратить...

Но на него не обратили внимания ни поющие, ни музыканты.

Песню допели. Сажин, Туляков и официант спустились в зал.

Взбешенный мэтр набросился на официанта:

— Как вы смели! Я вас завтра же уволю!

Но маленький официант только рассмеялся.

— Я сам сейчас уйду.

— Позвольте, Лапиков, вы же обслуживаете шесть столов...

Официант сунул ему в руку салфетку.

— Сам обслуживай. Меня нет дома.

И, прихватив по пути бутылку водки со стола, догнал друзей.

Втроем они вышли на пустынный бульвар, хлебнули по очереди из бутылки и пошли дальше — странная тройка: один во френче, другой во фраке, третий в сером пиджачном костюме.

Никто пути пройденного
У нас не отберет...
Мы конница Буденного
Дивизия вперед...

На углу Ришельевской эту конницу остановил милиционер и без особых объяснений препроводил в отделение.

Утром Сажин в измятом френче вошел в свой кабинет и, впервые не протерев сиденье, плюхнулся в кресло. «Свое, конечно, получу...— думал он,— скорей всего строгача... А может быть, и выставят отсюда к черту...»

— В общем, все правильно...— сказал Сажин вслух.

Начался обычный рабочий день Посредрабиса. Приходили и уходили посетители.

Выйдя в зал к Полещуку, Сажин заметил среди актеров вчерашних музыкантов.

— Здравствуйте, Андриан Григорьевич,— сказал с уважением пианист, когда Сажин проходил мимо.

Судя по лицам окружающих, они никому из «посредрабисников» ничего не рассказали о ночном происшествии.

«Конспираторы...» — усмехнувшись подумал Сажин.

Прошел месяц. То, что случилось в ресторане, и ночь, проведенная в отделении милиции, каким-то образом прошли для Сажина без всяких последствий.

Пришло письмо от Тулякова. Он сдержал слово, данное другу, и добился у своего начальства согласия на перевод Сажина в свое ведомство.

«К сожалению,— писал он дальше,— тут как раз пришла директива о сокращении штатов, так что об оформлении нового человека нет и речи. Как ни жаль, а получается, оставаться тебе со своими артистами. Что делать, брат, что делать...»

Сунув письмо в карман своего старого френча, отправился Сажин к девяти ноль-ноль на службу.

...Старший батальонный комиссар Сажин Андриан Григорьевич погиб в бою под Одессой 21 сентября 1941 года восточнее Тилигульского лимана и похоронен в братской могиле.



ДНЕВНИК КРИТИКА

КНИГИ О ПУТЕШЕСТВИЯХ И ПУТЕШЕСТВЕННИКАХ

Игорь ЗАБЕЛИН

Если иметь в виду не отдельные книги и не особо любимых читателями авторов, а жанр в целом, то по популярности с книгами о путешествиях и путешественниках могут сравниться лишь научно-фантастические и приключенческие книги. Почему?.. Ответ напрашивается как бы сам собой: любознательность... Да, конечно, и любознательность. Но ответы, лежащие на поверхности, далеко не всегда полно отражают глубокие, невидимые течения, а мне хотелось бы поговорить о «литературе путешествий» всерьез.

Я начну свой разговор с эпизода, который мне представляется символическим и который действительно произошел в глубине Африки 20 апреля 1961 года. И я прошу читателей обратить внимание на фотографию старика в пещере, сделанную мною в тот же день.

Еще затемно мы выехали из города Мопти, что стоит на берегу реки Нигер, и направились к хорошо известному африканистам уступу Бандиагара,— достигая высоты трехсот-четырехсот метров, он круто обрывается к лежащей перед ним саванне. Хорошо известен этот уступ и этнографам — его населяют догоны, народ, который много столетий тому назад воспользовался уступом Бандиагара как крепостью и сумел освоить и заселить его. Позднее, в более спокойные времена, догоны расселились и по другим местам, но Бандиагара — сердце страны догонов, и образ жизни их мало отличается от того, который вели их предки тысячелетие назад.

Лишь незначительные детали говорили о том, что цивилизация коснулась и догонов. По дороге мы видели людей с луками и стрелами, с изогнутыми мечами, но вождь деревни вышел к нам... с маленьким транзистором в руках. Кроме того, он немного говорил по-французски (раньше эта территория принадлежала Франции). Догоны были очень доброжелательны, они показали нам свои жилища, пустующий «дворец» царька-огона (огон умер, а нового можно было избрать только после первого дождя, но был сухой сезон), позволили нам отдыхать вместе с ними в пещерах, где они занимались прядением, плетением циновок... Во время одной из таких передышек мы спросили вождя, видел ли он когда-нибудь русских.

— Нет, мсье,— ответил вождь равнодушно.

— Но вы что-нибудь знаете о Советском Союзе, о России?

— Нет, мсье.

Кому-то из нас пришло в голову подарить на память вождю значок с изображением искусственного спутника Земли — в тех условиях мысль весьма оригинальная, скажем прямо.

— Что такое — искусственный спутник? — спросил вождь.

Наш товарищ принялся растолковывать ему суть дела, но вождь явно не понимал его, и тогда наш товарищ, отчаявшись, сказал, что искусственный спутник — это такая штука, которая крутится вокруг Земли потому, что ее запустили люди...

— Ха! — резко выдохнул вождь.— Гагарин!

Не будь я сам тому свидетелем, я бы, наверное, с трудом поверил, что фамилия первого в мире космонавта была произнесена в пещерах догонов на восьмой день после его полета. Но невероятное случилось: крохотный полупроводниковый приемник — единственный в догонской деревне Санга — поймал имя, звучавшее в те дни на всех радиоволнах, и вождь запомнил его и теперь стал понимать, кто мы и откуда!

Так первый космический путешественник принял эстафету путешественников земных, так помог он установлению связи человека с человеком... И сделал он это, совершая ранее невиданное, небывалое, переступив порог невозможного.

А все сказанное в последних строчках имеет самое непосредственное отношение к литературе путешествий, к многовековому читательскому интересу к книгам о путешествиях и к книгам о путешественниках.

В поисках сути

Правомерно ли по отношению к литературе путешествий понятие «жанр»? С некоторой долей условности, вероятно, правомерно. Любопытно, однако, что сама тема путешествий пронизывала и пронизывает все основные литературные жанры — и прозу, и поэзию, и даже драматургию. Многовесельные, срубленные из ливанского кедра корабли изображены на древнеегипетских фресках, и рядом с ними — невиданные в Египте животные. Пришло время, и наполненные ветром паруса появились на холстах европейских художников. Теперь, конечно, не обходится без путешествий и киноискусство: с помощью экрана или телеэкрана оно позволяет любому

из нас зримо присутствовать в самых отдаленных уголках планеты.

И еще одно довольно простое наблюдение. Сущность человека наиболее полно выражается в трудовой деятельности — едва ли кто-нибудь станет спорить с этим. Но не труду принадлежит первое место среди «вечных» тем устного или письменного творчества. Это несложно объясняется историческими причинами: не воспевать же свободным эллинам труд рабов, а трубадурам — крепостных?! (Хотя, замечу, былинный Микула Селянинович без малого тысячелетие пашет землю, да и вони-богатырь Илья Муромец не гнушался крестьянской работы.)

Певцы минувших тысячелетий и столетий отдавали явное предпочтение воинской доблести, любви и... путешествиям.

Что ж, с любовью, как вечной темой, все ясно. Да и с воинской доблестью — тоже: немирной, к сожалению, была человеческая история, и отважный воин заслонял пахарей-кормильцев в глазах бардов.

Но путешествия?.. Вероятно, справедливо, что истоки европейской литературы — в поэмах Гомера. И разве не примечательно, что одна из них, «Илиада», посвящена преимущественно воинским делам, а другая, «Одиссея»,— преимущественно путешествию?

Как географ, я некоторое время интересовался проблемами страноведения и однажды задумался о происхождении слова «страна». Обычное, всем известное слово. Но обратите внимание, какие слова стоят рядом с ним: стран'ность, стран'ное, стран'ствие, стран'ник; были стран'ноприимцы — люди, принимавшие путешественников и запоминавшие их рассказы; а с распространением грамотности появилась в нашем языке стран'ица (что там на следующей странице?), а потом и упоминавшееся стран'оведение... Случайные совпадения? Я просто не приемлю такие, с позволения сказать, объяснения, когда речь идет о глубинных проявлениях человеческого бытия, а тут мы как раз и встретились с таким проявлением.

«Страна» и «странное» — слова-родственники. «Страна» первоначально и обозначала странное, неизвестное, и лишь сравнительно недавно слово это распространилось и на родные места. Но странное всегда манило, интересовало, а если существует интерес, то всегда появляются и люди, его удовлетворяющие,— в данном случае «странники», а говоря современным языком, путешественники.

Значит, прежде всего все-таки любопытство?.. Любопытство свойственно и «меньшим братьям нашим», как назвал животных мудрый английский философ Фрэнсис Бэкон за триста с лишним лет до наших дней. Интерес человека к другим странам, к другим народам — это проявление его глубинной общественной сущности, его изначальной коллективной природы; человек вне общества, вне контактов с другими людьми — как близкими, так и далекими,— абстракция, не имеющая реального смысла, миф. В таком смысле интерес к другим странам, другим народам — это проявление далеко не всегда осознаваемой самим человеком своей связанности с миром живших и живущих...

Человеческие контакты... Если б они были извечно дружественными! Но было иначе, историю не подправишь, и как-то горько сознавать, что завоеватели с мечом и странники с посохом столь несопоставимо по-разному выражали неизбежность объединения всех племен и народов в единое человечество, неизбежность их коллективного бытия в будущем!

Конечно, не все путешественники были безгрешны, но если это были истинные путешественники, а не корыстолюбцы, то все-таки большинство из них шло с пальмовой ветвью, а не с кинжалом за пазухой, и не всегда они были виноваты, что проторенные ими мирные тропы заносились пылью «от шагающих сапог».

Понятны поэтому и стремления некоторых современных авторов создавать облагороженные образы путешественников или мореплавателей, которым по условиям их времени приходилось держать руку в боевой перчатке и, не раздумывая, обнажать меч... Мне вспоминается история с повестью безвременно скончавшегося талантливого журналиста и писателя Владилена Травинского «Звезда мореплавателя», посвященной Магеллану. В рукописном варианте Магеллан был изображен у В. Травинского мечтателем, отправившимся в кругосветное плавание, чтобы создать на другом конце света республику, страну счастья и справедливости... Невеселое занятие — развенчивать столь благородный образ, но Магеллан не был и не мог быть таким мечтателем-фантазером, и Травинский, не меняя своего по-человечески теплого отношения к первому кругосветному путешественнику, уточнил его образ, что пошло лишь на пользу книге («Молодая гвардия», 1969). Объективно экспедиция Магеллана служила, конечно же, установлению связей между народами, но создать страну справедливости путешественник мог только в мечтах, что и сделал современник Магеллана Томас Мор, совершивший «путешествие» на остров Утопия и положивший начало литературе утопического социализма, нередко использовавшей форму путевых очерков.

Когда они появились, путешественники?

В самом деле, когда?.. Вечное это занятие человека, как, например, труд, или приобретенное?.. Человек всегда перемещается в пространстве, иначе и быть не может, но не всякое перемещение — путешествие.

Если одним взглядом окинуть всю историю человека, то можно вполне отчетливо различить два разных по протяженности, но вполне реальных процесса. Первый из них — процесс рассеивания небольших людских групп из мест своего происхождения (скорее всего это была Восточная Африка) по всему земному шару,— процесс, который сопровождался «отталкиванием» племени от племени и, благо свободного места было много, позволил людям заселить все пригодные для жизни материки и острова. Во всяком случае, Америка первый раз была «открыта» примерно за 30—40 тысяч лет до плавания Колумба.

Второй процесс — процесс «собирания», процесс объединения некогда рассеявшихся племен. Он начался всего несколько тысячелетий назад и особенно усилился с появлением такой человеческой организации, как государство.

Период рассеивания исключал путешествия как форму взаимоотношений между людьми. Период собирания, государственной стабилизации больших людских масс в конкретных районах сделал путешествия практически нужными.

Но тут необходимо существенное уточнение. Кому-кому, а Наполеону не занимать-стать было льстецов и при жизни и после смерти. Но мне не приходилось читать, чтобы кто-нибудь назвал его путешественником. А ведь он побывал и в Азии и в Африке и закончил дни свои в Южном полушарии... В литературе (в том числе и в нашей) иногда распространяется легенда об Александре Македонском, как о жаждущем знаний молодом человеке, решившем

осмотреть и познать всю Ойкумену... Полноте! Был он гениальным военачальником, но путешественником он не был. Грабеж — вот его профессиональный интерес.

А путешествие — занятие мирное. В самой основе его — надежда на добрую встречу, вера в доброту, человечность незнакомых людей, племен, народов. Не всегда эти надежды оправдывались, потому что инстинкты и темные социальные силы долгие тысячелетия затушевывали изначальное человеческое добро, но, не будь этого добра, невозможно было бы и коллективное существование (зло эксплуатировало эту человеческую сущность!), невозможно было бы самопожертвование одного ради многих... И многое другое было бы невозможно — путешествия в том числе. Древнегреческий историк и географ Геродот не смог бы прийти в южнорусские степи, где тогда царили скифы, считавшиеся «дикими», но он пришел и описал страну «Скифию», и ему мы во многом обязаны знаниям о ней... И тверской купец Афанасий Никитин не совершил бы в XV веке своего «Хождения за три моря» в Индию... И Н. Н. Миклухо-Маклай не рискнул бы один поселиться у папуасов Новой Гвинеи... И сын московского банкира Василий Васильевич Юнкер, который предпочел накопительству путешествия по Африке, не осмелился бы жить среди племен, считавшихся «людоедскими».

Так вот, в основе этой странной профессии — путешественник! — вера человека в человека. И не будем путать с путешественниками разных там конкистадоров, грабивших и убивавших как раз тех, кто принимал их с доверием.

Книги путешественников — и названных только что и неназванных,— если они были настоящие путешественники, несут в себе не только сведения о странном, но и известие о вечном — о добре.

А появились путешественники тогда, когда разные государства убедились в невозможности существовать изолированно, в необходимости мирных — прежде всего торговых — контактов. Стало быть, путешественник — древняя, но не самая древняя человеческая профессия. Мы никогда не узнаем имени первого на Земле путешественника, и все-таки было в истории человечества и такое — первый путешественник, первое путешествие.

Нон плюс ультра

«Нон плюс ультра» в переводе на русский означает «Не дальше», но почему эти слова вынесены в подзаголовок, станет ясно чуть позже.

Путешественники, как, впрочем, и другие смертные, порою награждались современниками или потомками чем-то вроде прозвищ. На страницах книг, посвященных землепроходцу Семену Дежневу, непременно встречается имя другого землепроходца — отчаянного купца Федота Алексеева по прозвищу Холмогорец,— значит, был он из тех мест, откуда и Ломоносов вышел. В средние века жил-был монах Козьма. По каким-то причинам он совершил плавание в Индию, описал свое плавание и составил карту Земли,— древние греки сгорели бы от стыда, глядя на это уродливое произведение,— но все-таки он по праву получил прозвище «Индикоплов». А в прошлом веке наипростейше поименованный своими родителями человек Петр Петрович Семенов по воле какой-то царствующей особы (действительно, не помню, какой) стал Семеновым-Тян-Шанским, ибо первым из русских побывал в горах Тянь-Шаня, а книга его о путешествии буквально перевернула представления западноевропейских ученых об этой стране. Значит, и справедливо и красиво получилось.

Но в истории географии известно и, казалось бы, совершенно несправедливое имя-прозвище, которое, однако, читатель обязательно встретит в любой книге, посвященной великим географическим открытиям. Звучит оно так: Генрих-Мореплаватель. С Генрихом все ясно, это имя португальского принца, жившего в XV веке... А вот «Мореплаватель»?.. Дело в том, что «мореплавателем» он стал лет через четыреста после своей кончины — так прозвали его географы прошлого столетия. Сам же Генрих никаких плаваний не совершал — он работал на мысе Сан-Висенти, крайней юго-западной оконечности Европы, и прямо перед ним лежал воистину необозримый Атлантический океан,— его дали и владели мыслями Генриха. Слово «работал» не очень сочетается в нашем сознании со словом «принц», но принц Генрих действительно работал. Португальские моряки не умели пользоваться навигационными картами и тем более составлять их. Генрих создал картографическое училище, и мореходы быстро овладели картографическим искусством. Генрих заботился о кораблестроении, и при нем старые, неуклюжие барки были заменены знаменитыми каравеллами, достигшими Америки, обогнувшими земной шар. Разумеется, все это принц Генрих делал неспроста: он мечтал, чтобы его каравеллы обогнули Африку и достигли Индии. И, разумеется, неспроста я рассказываю о принце Генрихе. Он повелевал своими капитанами на первый взгляд странно: он не требовал, чтобы они немедленно прокладывали дорогу в Индию. Но он требовал, чтобы каждый капитан заходил на юг дальше, чем его предшественник. И постепенно создавалась и совершенствовалась карта. И совершенствовались корабли. Принц Генрих не дожил до открытия морского пути в Индию, но его последователи, действуя так же, как он, добились своего.

Принц Генрих создал научный метод овладения пространством — постепенность в сочетании с совершенствованием инструментария и кораблей — вот в чем суть. Но ведь так работают и современные исследователи космического пространства!.. Все мы знаем, какая огромная подготовительная работа предшествовала первому кругосветному полету Гагарина и первому полету людей на Луну... И вот, оказывается, какие сокровищницы человеческого опыта таит в себе литература путешествий! И вот почему мы сегодня без всякой иронии воспринимаем прозвище принца Генриха — «Мореплаватель».

Но вернемся к словам, вынесенным в подзаголовок статьи.

«Нон плюс ультра» — это название мыса на западном побережье Африки. «Не дальше!» — вдумайтесь в это название и представьте себе состояние морехода, приближающегося к этому мысу...

Самое невероятное, быть может, заключается в том, что нам, современным географам, неизвестно в точности местонахождение мыса со столь угрожающим названием. Знаем, что был. Знаем, что омывался волнами Атлантического океана, который некоторое время именовался «Португальским морем». Но где он в точности находился — бог весть! Человеческий ум, воля, отвага подвели каравеллы к мысу «Не дальше!» и увели их за него — дальше! — в неизвестные моря и страны. Мыс «Нон плюс ультра» был стерт с географической карты.

Дорого это стоило, конечно. Португальский поэт Фернанду Песоа, живший в первой половине нашего века, писал так:

> Португальское море — горючая соль,
> Наши слезы и горе — португальская боль!
> Сколько слез ты украло из глаз матерей,
> Сколько спит в глубине твоей их сыновей...

Да, их много там спит. Так же, как в Ледовитом океане, Тихом, Индийском. Так же, как в Сибири, Африке, Америке...

Ни одно большое дело не обходится дешево человечеству, но каждое из них оставляет вечный след, каждое рушит преграды с запретительным знаком — «Не дальше!». И бесконечное количество примеров тому — в литературе путешествий.

Эффект преодоления

Внимательный читатель может обратить внимание, что в заключительных абзацах предыдущего раздела я вспоминаю слезы португальских матерей и ничего не пишу о слезах африканских женщин,— ведь экспедиции Генриха-Мореплавателя положили начало работорговле. Да, так было. За мореплавателями шли солдаты. Таково было время. И даже очень умные люди той эпохи воспевали подвиги мореплавателей-грабителей. Мечтания принца Генриха были осуществлены в конечном итоге Васко да Гамой — он завершил описание побережья Африки и с помощью арабов нашел дорогу в Индию. Первое плавание Васко да Гамы в Индию еще было первооткрывательским и с некоторыми натяжками может быть отнесено к путешествиям в том смысле, в каком трактуются они в этой статье. Второе плавание было откровенно грабительским.



На снимках: Африка. Деревня пигмеев; догоны в пещере.

Величайшая — после «Одиссеи» — поэма, посвященная путешествиям,— это поэма португальца Камоэнса «Лузиады», посвященная подвигам Васко да Гамы и мужеству португальского народа.

Мне довелось побывать во многих странах Африки, расположенных на Атлантическом побережье,— от Марокко до границ Анголы. Я сам слышал восторженные рассказы местных историков о местных вождях, впервые вступивших в контакт с европейцами, иначе говоря, занявшимися продажей своих соотечественников. Случай с Таманго, описанный Проспером Мериме в одноименной новелле,— исключительный случай; работорговцам незачем было пленять местных вождей: они были нужнее им как поставщики рабов, без них не расцвела бы работорговля.

Не знаю, насколько нужно это отступление. Вероятно, все-таки стоило сказать, что мною не забыты трагические стороны очень сложного историко-географического процесса.

А после этого «оправдания» я должен напомнить, что тема моя не история, а литература путешествий.

Итак, мыс «Нон плюс ультра» стерт с географической карты!

Будь это событие по своему значению сугубо историко-научным, ему, очевидно, и не стоило бы придавать столь большое значение в статье о литературе путешествий. Но в том-то и дело, что оно поистине символично, в нем как бы запечатлена одна из удивительнейших особенностей литературы путешествий, которую я определил бы как «раскрепощение духа». Да, раскрепощение человеческого духа, и ни малейшей напыщенности нет в этом выражении, ибо свершенное одним — словно удесятеряло силы других. Я поясню свою мысль всего лишь несколькими примерами.

Колумб. Всем известно, с каким трудом он пересек Атлантический океан, известно, что матросы бунтовали, требуя повернуть каравеллы обратно... Корабли Колумба не были, конечно, гигантами. Но управляли ими умелые и относительно многочисленные экипажи. Мы справедливо оцениваем плавания Колумба как подвиг.

...А в наши дни регулярно проводятся спортивные «бега» на яхтах-одиночках (с одним человеком на борту) по маршруту Европа — Америка.

Магеллан — железная натура — едва одолел на редкость спокойный — Тихий! — океан во время своего путешествия. Его спутник, завершивший кругосветное плавание, баск Себастьян Элькано погиб при попытке второй раз пересечь уже знакомый ему Великий океан.

...А сейчас моряки-одиночки на парусных яхтах соревнуются в скорости — кто быстрее обогнет земной шар, причем нередко без захода в какой-либо порт.

Несколько десятилетий альпинисты штурмовали высочайшую вершину мира — Эверест, и безуспешно. Но едва стало известно, что на нее взошли новозеландец Хиллари и шерп Тенсинг, как следом за ними поднялись на Эверест швейцарцы, американцы, индийцы, японцы. А в этом году по разным маршрутам на Эверест поднялись две женщины — японка Юнка Табей и тибетка Фантог. Поразительно!

Поразительно в особенности потому, что во всех этих примерах и речи не может быть о торжестве техники. В практическом плане любому современному Чичестеру было не легче, чем Магеллану.

Но и Колумб и Магеллан шли в неизвестность, на пути их стояли барьеры, казавшиеся непреодолимыми; они первыми доказывали, что самые неодолимые рубежи преодолимы, первыми сметали предупредительный знак «Не дальше!».

А последователи их, как и последователи первовосходителей на Эверест, уже знали, что задуманное ими человеку по силам, и потому было им неизмеримо легче. Повторяю: не физически. Но литература путешествий, сообщая о свершенном, снимала психологические барьеры, раскрепощала дух, и потому она постоянно расширяла и расширяет возможности человеческой личности. Но разве только для путешествий важно устранение психологических барьеров?!

И жаль, что литература путешествий не исследована с этой точки зрения ни литературоведами, ни психологами.

Ничто человеческое...

Да, ничто человеческое не чуждо литературе путешествий, ни одна из «вечных» тем не миновала ее, да и не могла миновать.

В вооруженном мире не всегда можно было путешествовать безоружным, как делали это Геродот, фламандец Рубрук,— босиком, в рубище, явившийся зимою в ставку монгольского хана в Центральной Азии,— как Афанасий Никитин, Миклухо-Маклай... Поэтому и воинские доблести запечатлены в литературе путешествий... И товарищество, вплоть до самопожертвования. И великий труд...

И любовь, конечно. По-моему, это недоразумение, что до сих пор не сложены поэмы о Василии и Марии Прончищевых, участниках Великой северной экспедиции, погибших у берегов Таймыра в 1736 году; о Григории и Александре Потаниных, совершивших несколько путешествий по Центральной Азии (из последнего совместного путешествия Александра Викторовна не вернулась); о полярном исследователе Владимире Русанове и его молоденькой супруге, парижской студентке Жюльетте Жан, разделившей с ним его трагическую судьбу; об Иване и Марфе Черских — из их экспедиции на Колыму не вернулся Иван Дементьевич...

О Черских я скажу несколько слов особо, потому что литература путешествий — это летопись подвигов и своеобразной преемственности в подвигах: такая преемственность была, например, в путешествиях Пржевальского и его последователей. Но на Колыме взяла старт эстафета, почти неправдоподобная по стечению обстоятельств и совпадению судеб. Впрочем, судите сами.

И. Д. Черский, будучи совсем юным человеком, принял участие в польском восстании против царского самодержавия; после подавления восстания его сослали в Сибирь, а в Сибири он очень быстро проявил себя как талантливый исследователь. По ходатайству Семенова-Тян-Шанского, который к тому времени стал важной особой, сенатором, И. Д. Черского амнистировали, и Русское географическое общество поручило ему исследование бассейна реки Колымы. И. Д. Черский тогда уже был серьезно болен туберкулезом, но незамедлительно отправился из Петербурга почти на другой край света вместе с Марфой Павловной. Смерть стала настигать его, когда он приближался к устью Колымы. Он отказался прервать путешествие. Когда он уже не мог писать — за него вела в путевом дневнике записи Марфа Павловна. Он и умер у нее на руках, не достигнув своей цели — устья Колымы.

Устье Колымы было исследовано спустя некоторое время Георгием Седовым. Он исполнил то, к чему стремился Черский. А еще несколько лет спустя, уже больной, как и Черский, и тоже знавший, что погибнет, Георгий Седов отправился к Северному полюсу. И погиб. Погиб, повторив подвиг Черского...

Когда экспедиционное судно Седова «Св. Фока» готовилось покинуть арктические берега, к месту стоянки его пришли два человека — члены экипажа полярной экспедиции Г. Л. Брусилова на шхуне «Св. Анна». Через два года после Седова Брусилов тоже побывал в устье Колымы,— привел туда свое судно из Владивостока. А потом предпринял новое путешествие, но шхуну затерло во льдах и понесло на запад. Вот тогда те два человека, что пришли на стоянку судна Седова, и решили спасаться самостоятельно — в сопровождении еще нескольких человек они покинули «Св. Анну» и пошли на юг. В той группе, которая покинула шхуну, было лишь два здоровых человека — штурман Альбанов и матрос Конрад. Они и объединились, предоставив больных своей собственной судьбе. Только они вдвоем и спаслись. Все остальные участники экспедиции погибли. В 1917 году Альбанов опубликовал книгу «На юг, к Земле Франца-Иосифа». Уже в послевоенные годы она была переиздана под названием «Подвиг штурмана В. И. Альбанова». Как вы думаете, следовало ли ее так называть — «Подвиг»?..

Много сложных вопросов ставит перед читателями литература путешествий — всех и не перечислишь, конечно.

Мы, современные люди, независимо от профессии живем под лозунгом, рожденным в тяжелейшие годы истории нашей страны: «Никто не забыт, ничто не забыто». И хотя этот лозунг имеет точный адрес, обращен к пережитой войне, он с полным правом может быть отнесен и к литературе путешествий, к ее исторической ветви. В буквальном смысле слова тысячи имен как отечественных, так и зарубежных путешественников ввели в обиход современного читателя книги историков географии И. П. Магидовича, Я. М. Света, А. И. Алексеева, М. И. Белова, писателя Сергея Маркова — вспомним его последнюю по времени книгу «Вечные следы» (1973).

Особенно следует подчеркнуть, что нравственный подход к оценке историко-географических событий в наши дни становится почти непременным даже в строго научных работах. Примером тому может служить книга Д. М. Лебедева и В. А. Есакова «Русские географические открытия и исследования» («Мысль», 1971).

А начало вот такой — по существу, а не по чину — традиции оценке географических событий положил в русской литературе М. В. Ломоносов. Анализируя результаты работ Великой северной экспедиции, он особо подчеркивал, что «главным» в этой экспедиции был не ее начальник Витус Беринг, а его помощник Алексей Чириков. И это на самом деле было так, но вся посмертная слава досталась Берингу — его именем названы море, пролив, остров, поселок, район,— а Чириков вообще мало кому известен... Так что в жизни действуют не только традиции, намеченные гениальными людьми. (В журнальной статье невозможно проанализировать сколько-нибудь подробно «проблему Беринга», и я позволю себе отослать читателей к своей книге «Встречи, которых не было» (1966),— там помещен большой историко-публицистический очерк «Берега несправедливости», посвященный, в частности, и этой теме.)

Есть в нашей литературе путешествий еще один спорный вопрос, тоже сугубо нравственного характера и тоже связанный с памятью человека, заслуги которого были приписаны другому. Речь идет о первооткрывателе пролива между Азией и Америкой, который носит имя Беринга.

В 1973 году была переиздана книга «Подвиг Семена Дежнева», написанная М. И. Беловым, человеком, в общем, неплохо знающим историю русских географических открытий, но явно чуждым ломоносовской традиции в литературе путешествий.

Суть же дела в том, что Семен Дежнев самолично никакого подвига не совершал и никогда себе этого не приписывал. Он был лишь участником предприятия, которое действительно может быть охарактеризовано как подвиг,— предприятия, начатого и совершенного Федотом Алексеевым, по прозвищу «Холмогорец». Именно этот Холмогорец был организатором и руководителем отчаянно смелой экспедиции, которая и прошла впервые проливом между Азией и Америкой. Но Холмогорец из экспедиции не вернулся — погиб, а Дежнев остался жив и в нескольких «отписках» сообщил о плавании. Не очень задумавшиеся о нравственной стороне дела историки и приписали ему все заслуги. Сейчас, пожалуй, один М. И. Белов по трудно объяснимой причине продолжает настаивать на неверной точке зрения. В специальной же литературе в конце концов одержала верх ломоносовская традиция (в частности, это видно и по книге Д. М. Лебедева и В. А. Есакова), и тут невольно вспоминается история первого кругосветного плавания: Магеллан погиб, и описание путешествия дал его спутник Пигафетта, но никто не называет его на этом основании первым кругосветным путешественником.

...Нельзя, рассказывая о литературе путешествий, не привести хотя бы одного примера взаимовыручки, товарищества. Я действительно ограничусь одним примером. Когда при попытке перелететь из Европы в Америку потерпел катастрофу дирижабль «Италия», на помощь его экипажу пришли советские люди на ледоколе «Красин»,— совсем недавно этот исторический эпизод был воспроизведен в фильме «Красная палатка».

И нельзя не сказать о человеческой смекалке, порою граничащей с тем, что в просторечье именуют «безумием». В конце прошлого века почти одновременно в Норвегии и России возникли две внешне противоположные идеи о путях проникновения в глубь Арктики. Ф. Нансен решил умышленно вмерзнуть на своем судне во льды и вместе с ними продрейфовать через весь Северный Ледовитый океан. А в России мореплаватель С. О. Макаров предложил создать ледовзламывающее судно, способное пробиться к полюсу,— ледокол. Обе идеи были встречены в буквальном смысле слова как безумные и подверглись почти всеобщему осмеянию... Обе идеи блестяще оправдали себя. Судно Нансена «Фрам» благополучно выдержало ледовые испытания и пересекло весь океан. Ныне нансеновская идея воплощается в регулярной работе советских и американских дрейфующих станций,— они и сейчас, в этот момент, там — далеко от земли, и близится уже полярная ночь...

Первым ледоколом был «Ермак» — не очень уж могучий корабль, который С. О. Макаров водил в полярные моря. А совсем недавно вступил в строй советский атомный ледокол-гигант «Арктика», которому никакой лед не страшен,— вероятно, он может, если потребуется, пробиться и к полюсу.

Вообще мысль использовать океанские течения для облегчения путешествий — очень давняя мысль. После открытия Америки использовали, например, течение, идущее от берегов Африки к Новому Свету. Плавания эти казались капитанам парусников настолько легкими, что они прозвали этот участок Атлантического океана «дамской дорогой». Недавно этой «дорогой» воспользовался экипаж папирусного судна «Ра». А еще раньше состоялось блистательное плавание через Тихий океан на плоту «Кон-Тики», задуманное и осуществленное, как и плавание на «Ра», Туром Хейердалом. Его плот заслуженно помещен в музее рядом с «Фрамом» Ф. Нансена.

ЭПИЛОГ

Эпилоги как будто не приняты в литературных статьях. Но я позволю себе эту вольность по причине, которая мне представляется уважительной: я до сих пор не сказал о самом главном географическом открытии, о той роли, которую сыграла в этом открытии литература путешествий.

Об открытии этом, как ни странно, обычно не пишут в географических книгах, но оно действительно состоялось, и я определю его словами, сказанными в середине прошлого века выдающимся немецким путешественником Александром Гумбольдтом: странствуя по земному шару, путешественники открыли, что человечество — «это одно великое братское племя», «единое целое, существующее для достижения одной цели (свободного развития внутренней духовной силы»), и это «воззрение именно всеобщностью своего направления прямо составляет то, что возвышает и одухотворяет космическую жизнь».

Слова эти взяты мною из самого знаменитого сочинения А. Гумбольдта — «Космос». Именно этот пятитомный труд вернул людям древнегреческое слово «космос» и утвердил его современное значение; в нем Гумбольдт одним из первых заговорил о жизни как космическом явлении и увидел возвышенность и одухотворенность ее в единстве и свободном развитии (раскрепощении!) духа... Конечно же, Гумбольдт знал, как сложно и противоречиво все в мире. Он пережил варварские наполеоновские войны и даже выступал в роли дипломата с мирными предложениями. Он обращался с письмом-протестом к президенту Мексики, требуя защиты индейцев от произвола колонистов. Он резко осуждал рабовладельческие порядки на Кубе и, правда, более мягко, в письмах, осуждал крепостничество в России. Его слова о человечестве, как «братском племени», конечно же, не отражали реальной ситуации. Они — как бы проникновение в суть такого явления, как человечество, и они — как бы взгляд в неблизкое будущее, которое в последние годы жизни А. Гумбольдта уже было определено и провозглашено «Манифестом Коммунистической партии».

В молодости А. Гумбольдт прославился путешествиями по Южной и Центральной Америке — их даже называли «вторым открытием Америки».

Подразумевалось, что первое совершил Колумб. Следом за Колумбом пришли завоеватели и воинственные переселенцы, и тут ничего не исправишь. И все-таки не будем забывать, что Колумб положил начало регулярным связям между народами разных континентов.

Гумбольдт проплыл и прошел несколько тысяч километров по самым глухим районам Америки вдвоем с товарищем, французским ботаником Э. Бонпланом. Их крохотный «интернациональный» отряд ни разу не подвергся нападению со стороны местных жителей, наоборот, им помогали чем могли. Американские дороги вернули А. Гумбольдта в Европу, а европейские — привели в Россию: он совершил большое путешествие и по нашей стране, вплоть до ее южных пределов, и, разумеется, всюду его встречали по-дружески. И, конечно же, не случайно написал Гумбольдт в конце своей долгой девяностолетней жизни о «великом братском племени» — человечестве.

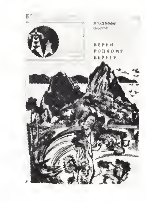
Полет первого космонавта Юрия Гагарина не только отшвырнул в бесконечность пресловутое «Не дальше!», но и как бы протянул реальные нити понимания, доверия между всеми народами Земли.

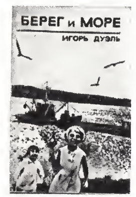
Литература путешествий на протяжении веков протягивала и укрепляла эти нити. Она целеустремленнее, прямолинейнее, чем какой-либо иной жанр литературы или искусства, формировала у людей представление о человечестве как целом, о его братской единой сущности. А воплощалось это, в частности, и в экспедиционной практике. Первая зимовка в Антарктиде была осуществлена англо-норвежской экспедицией. В экспедиции Амундсена к Южному полюсу принимал участие русский океанограф А. Кучин, а в трагической экспедиции Р. Скотта было даже четверо русских каюров. Ныне Антарктида — материк коллективного интернационального подвига.

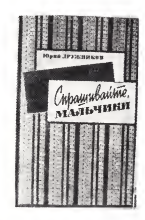
Становится делом всего человечества, несмотря на существующие политические разногласия, и освоение космоса.

И когда на околоземной орбите встретились космические корабли, впервые в истории посланные в совместный полет Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, то в той дружеской атмосфере, в которой этот полет протекал, были и частицы тепла, накопленные и сбереженные для человечества литературой путешествий.













ЛЮДИ СЕГОДНЯШНЕЙ СИБИРИ

Всякий день поезда и самолеты, пересекающие Урал, везут сотни людей, которые впервые увидят Сибирь, ранее известную им только по книгам и кинофильмам, самую бурно растущую и быстро изменяющуюся часть нашей страны. Но каждый из тех, кто приедет сюда жить и работать — пробудет ли он здесь несколько лет или останется на всю жизнь,— внесет свой штрих в облик завтрашней Сибири...

Пожалуй, прежде всего и этим людям обращена книга Владимира Шорора «Верен родному берегу», вышедшая в серии «Черты сегодняшней Сибири» (Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1974).

«О поколенье судят по героям, которые к нему принадлежат»,— эти строки Олега Дмитриева мог бы поставить эпиграфом к своей книге В. Шорор, ибо рассказывает он не о стройках, а о строителях. И хотя персонажи книги в основном — строители Иркутской гидростанции, в их ежедневном трудовом бытии, в их чаяниях и раздумьях отразились труд, мысли и надежды людей, работавших и на других новостройках. Это поколение, сделавшее Сибирь такой, какова она сегодня.

В том, как сибиряки жили и работали, а не только в объемах продукции и иных цифрах созданного ими,— живой пример молодым строителям текущего дня, той же Байкало-Амурской магистрали. Пример этот не в технических приемах одной из героинь книги, бетонщицы Анны Москаленко — ее рекорды наверняка уже перекрыты,— но в том ощущении счастья, с которым она проживает каждый свой рабочий день («перекрыть» это ощущение невозможно!). Или бригадир скалолазов Владимир Сухомлинов, о котором идет речь в одном из очерков, являет собой яркий пример того, что в труде заключена важнейшая возможность роста и совершенствования человеческой личности...

Полезное начинание — эта серия «Черты сегодняшней Сибири», хороший вклад в нее — книга В. Шорора.

Ю. ЛЯХОВ

СВОЯ ТЕМА

Небольшая книжка Игоря Дуэля («Берег и море», Владивосток, 1975) посвящена одному из рыболовецких хозяйств Приморья. Внешним толчком к ее созданию послужило путешествие автора в составе выездной редакции «Нового мира» в дальний колхоз, носящий то же название, что и сам журнал.

И. Дуэлю доводилось и до этого бывать на Дальнем Востоке. Он ходил за сайрой на сейнере во время путины матросом, успев тем самым на практике познать нелегкий рыбацкий труд. У него имелось определенное «предрасположение» к тому кругу проблем, с какими он столкнулся, оказавшись в артели «Новый мир».

Свой рассказ автор ведет живо, непринужденно, избегая шаблонов, примелькавшихся очерковых «ходов». Он будто нарочито избрал явно неудачный рейс, когда сейнер «Альбатрос», выражаясь языком профессионалов, долго и безуспешно «дергал пустыря».

Оказывается, при основательном знании дела (автору явно пригодилась его прежняя рыбацкая практика) и такое плавание не помеха. Наблюдая за тем, каким молодцом показал себя капитан «Альбатроса», сколько проявил выдержки, собранности, природного таланта морехода в этом явно незадавшемся рейсе, понимаешь, что недаром управление колхоза доверило ему одно из судов своей немногочисленной рыболовной флотилии.

И. Дуэль не просто стремится познакомить нас с жизнью обитателей поселка, необычного даже для довольно пестрого по своему национальному составу Приморья (здесь живут представители девятнадцати национальностей). Он затрагивает и ряд местных экономических, хозяйственных проблем. При всем том жизнь рыбацкой артели показана не в изоляции от остального Приморья, а плотно вписана в более широкую панораму края.

Вот почему, читая одну из лучших глав книги «Три четверти века», где рыбаки-ветераны, перебивая и дополняя друг друга, воспроизводят перед очеркистом картины трудного обживания ими этих суровых берегов, борьбы с интервентами в годы гражданской войны, испытываешь ощущение, будто перед тобой оживает история края. А сами эти старики, убеленные сединами, но все еще крепкие, сохранившие былую силу в жилистых рыбацких руках, невольно заставляют вспоминать авторские слова об утвердившихся здесь, на тихоокеанских берегах, деревьях, которые «не просто выросли — выстояли наперекор наводнениям, осыпям, ураганам».

С. ЛАРИН

СПРАШИВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ

Знакомая многим реплика: «Вырастешь — поймешь!» — так часто отвечаем мы на бесконечные ребячьи «почему?». И не задумываемся, что дело обстоит как раз наоборот: ребенок не может «вырасти» до тех пор, пока не поймет, пока не получит исчерпывающих ответов на все свои вопросы. «Нам некогда ли не доверяем молодости. Но мы словно забываем, что вся история человечества состоит из загадок и отгадок», — делится тревогой писатель Юрий Дружников в своей книге «Спрашивайте, мальчики» («Московский рабочий», 1974).

Видимо, каждый обращал внимание, с каким интересом ребята слушают передачи для взрослых по радио и телевидению о воспитании детей. Запоминают факты, примеры, делают выводы, сравнивают с тем, как воспитывают их самих. Что привлекает их в этих передачах? Может, желают понять, что же в конце концов хотят от них эти, не всегда понятные взрослые? Возникает прямо-таки полуфантастическая ситуация первых контактов двух космических миров: мира взрослых и мира детей. Или, может, тут все куда проще — ребята пытаются приглядеться к себе со стороны? Какие же мы с точки зрения взрослых? Что они о нас думают?

И кто знает, кому больше необходимы эти передачи? К тому же не будем забывать, что наши дети — в будущем — воспитатели наших внуков. И тогда согласимся с мнением Юрия Дружникова: «Разумно ли делать секреты из педагогики? Не лучше ли наоборот: открыто объяснить, особенно старшим, почему надо поступать так, а не иначе, какие это повлечет за собой последствия».

По-детски максималистски сейчас, а совсем не после хотят они получить ответы на вопросы, над разрешением которых тысячелетиями мучительно думали великие, просвещеннейшие умы человечества. Всегда ли мы представляем интересы наших ребят? Что их волнует? О чем они спорят? В чем сомневаются? На какие вопросы стремятся получить ответ?

Проведя в одной из школ немудреный эксперимент, Юрий Дружников стал обладателем 614 вопросов, заданных старшеклассниками. Тут были вопросы и космические: «Почему звезды собираются в галактики, а не блуждают поодиночке?» И сугубо земные: «Есть ли у бегемотов хвост, и какой длины?» Очень серьезные: «Сейчас много пишут о громадном потоке информации. Посоветуйте, пожалуйста, как в нем не утонуть, как найти границы, что нужно и что не нужно. Есть ли выход?» И весьма ироничные: «Человек скоро сможет преодолевать перегрузки, возникающие при полете со скоростью света. А как быть с перегрузками школьными?» Спорящие с родителями: «Мой папа — начальник цеха. Он говорит, что рабочие с 8-леткой лучше, чем с 10-леткой, потому что они не удирают в институт. Правильно ли это?». Вопросы по науке, технике, политике, праву, морали, искусству, спорту. Каждый четвертый задавал вопрос, какой можно условно обозначить: «Кем быть?» Шесть сотен записок. Спрашивали мальчики, спрашивали девочки. Были записки сумбурные, но ни одной глупой. Сердитые, но ни одной грубой. Были неграмотные, но ни одной нетактичной. Строгие, но ни одной жестокой. Почему? Да потому, что наши дети гораздо чище, чем некоторые подчас о них думают.

Юрий Дружников заставляет задуматься не только над самими ответами, но и над причинами вопросов, чтобы понять, обнаружить наши, старших, упущения. Он использует вопросы для совместного поиска истины и делает вывод, что такие встречи «Отвечаем на любой вопрос» очень нужны и ребятам и учителям. Первым, чтобы посоветоваться о том, что тебя волнует, о чем ты думаешь, но просто спросить иногда неловко. Вторым, чтобы держать руку на пульсе, знать, что волнует твоих воспитанников.

Ал. РАЗУМИХИН

ПОЭТ ИЗ ДИВНОГОРСКА

В городе Дивногорске, Красноярского края, всего один член Союза писателей — это Владлен Белкин. Десять лет он строил этот прекрасный город на скалистом берегу Енисея, неподалеку от Красноярской ГЭС, которая все еще является самой большой в мире. Десять лет работы лесорубом, плотником, каменщиком и долгие вечера и ночи за пишущей машинкой. Это биография, это судьба. Пожалуй, можно было устроиться в газету, но, по словам самого Белкина, он «человек неторопливый и чувствовал бы себя не в своей тарелке. Да и такие, например, стихи надо иметь право написать:

Мы лес валили,
    крыши крыли
и воевали
    с мошкарой,
а выходило, вроде
    были
творцы истории
    живой...

Как и многие нынешние сибиряки, Владлен Белкин приехал в Красноярский край человеком зрелым. Поэтому он знает, как трудно врастает человек корнями своими в необжитую, недавно еще дикую землю. Своему другу из Смоленска он посвящает такое стихотворение: «С какой невысказанной болью в родной смоленской стороне ты смотришь на льняное поле и паутинки на стерне. А здесь на кедры и гранит, и лог, жарками опаленный, восторженно и... отчужденно душа притихшая глядит...»

К одному из стихотворений книги Белкин взял эпиграфом строки Сергея Дрофенко: «Только честность — надежная сила на изломе великих времен». И потому совсем не случайны у Белкина такие строки:

Все обиды и печали,
что по злой моей
    вине
неповинных
    огорчали,
оседали и во мне.
И когда постыдный
    счет
строго совесть
    предъявляла,
зря беспечность
    обещала:
перемелется,
    пройдет.
Сколько жерновов
    сточилось,
Вьюг отпело, гроз
    прошло!
Ничего
    не позабылось.
Только глубже
    проросло.

Да, «честность — надежная сила» поэзии, и лауреат премии красноярского комсомола Владлен Белкин это знает.

Вадим КОВДА

ПОЗИЦИЯ КРИТИКА

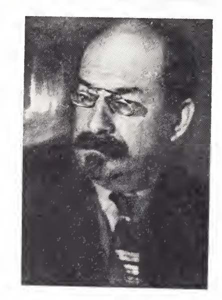
Духовное, нравственное обоснование социальных явлений — вот та ось, вокруг которой строятся размышления Ф. Кузнецова о литературе и современной действительности («За все в ответе. Нравственные искания в современной прозе». М., «Советский писатель», 1975). Впрочем, не только в современной. Разговор о таких понятиях, как идейность, нравственность, героизм, опирается на богатое наследие общественной и художественной мысли.

Открыто заявляя о своей приверженности принципам «реальной критики», Ф. Кузнецов этими принципами руководствуется: и в утверждении непрерывности героических, революционных традиций в жизни советского общества, и в определении социальных корней мещанства, и в материалистическом толковании духовности. Критик сосредоточен на решении и таких существенных проблем, как историзм современной прозы, народное и национальное, общечеловеческое и классовое. Ф. Кузнецов не отделяет, не разграничивает друг от друга социологический и эстетический критерии (хотя очевидна бо́льшая приверженность Ф. Кузнецова общественно-философской проблематике, нежели вопросам художественной формы). Особенно показательна в этом отношении глава «Судьбы деревни в прозе и критике», написанная остро и темпераментно. Автор анализирует тот пласт современной литературы, вокруг которого долгие годы кипели (и продолжают кипеть) споры. Произведения «деревенской прозы» Ф. Кузнецов рассматривает и в других главах, неизменно подчеркивая при этом весомый заряд социальных идей, которые содержат в себе эти книги. «Герои романов Федора Абрамова не просто крестьяне, но колхозники, именно так и только так мыслят они себя». Это разграничение говорит и о позиции критика. Не поиск абстрактных моральных ценностей (как истолковывали некоторые «деревенскую прозу»), но конкретно-исторический ее анализ.

Полемичность — неотъемлемое качество творческого почерка Феликса Кузнецова. Сборник соединил под своей обложкой статьи, которые печатались в периодике. Его наблюдения, выводы, утратив привязанность к конкретным фактам литературного развития, не утратили при этом актуальности. А это, согласитесь, для критика — достоинство немаловажное.

Валерий ГЕЙДЕКО

А. В. Луначарский: «Бороться, творить... всю жизнь»



Из твоих писем я вывожу заключение, что в тебе все время происходит сильнейшее брожение. В твои годы я такого в себе не запоминаю, но это чистый плюс для тебя. Волноваться, бороться, творить и сомневаться хорошо всю жизнь, но особенно в молодости». Это отрывок из письма Анатолия Васильевича Луначарского сыну — тоже Анатолию и тоже литератору. Кстати сказать, Анатолий Луначарский свято чтил и выполнил все наказы отца: боролся, творил... Погиб он на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Хорошим наставником и добрым другом Луначарский был не только для своего сына, но и для всей советской молодежи, которую горячо любил, ценил ее увлеченность и энтузиазм. Он заботился о молодежи, как о смене старшему поколению, старался, чтобы эта смена выросла здоровой, сильной, умной. Он знал, что быть наставником и другом молодого поколения строителей социализма не просто. Но он имел на это моральное право, ибо прошел большой и трудный путь профессионального революционера, государственного деятеля. Как и многие борцы за счастье народа, он проходил школу жизни, свой университет в царских тюрьмах, в ссылке. И везде не покладая рук он готовил себя к борьбе, занимался самообразованием, много читал, изучал иностранные языки.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции А. В. Луначарский в течение двенадцати лет руководил Наркомпросом, ведавшим тогда всеми вопросами советской культуры: народным образованием, высшей школой, музыкальным и изобразительным искусством, кинематографией, театром, эстрадным и цирковым искусством, изданием книг.

Его необыкновенной эрудиции завидовали все. Он знал шесть европейских языков и свободно говорил на них. И недаром шла молва, что Луначарский — самый образованный министр просвещения во всей Европе.

Много внимания Анатолий Васильевич уделял воспитанию молодых строителей социализма. Всей душой, всем сердцем он был с комсомолом, с молодежью.

В трудные годы разрухи и голода Луначарский в лекциях и докладах убежденно и ярко говорил о будущей счастливой жизни. Говорил так увлекательно, что молодежь забывала о недоедании, о нехватке учебников и бумаги, стремясь все свои силы и знания отдать строительству этой новой жизни.

В докладах «Ленин и молодежь», «Искусство и молодежь», «Новый человек», «О быте» и многих, многих других Анатолий Васильевич Луначарский пропагандировал ленинские взгляды на комсомол как на ближайшего помощника и преемника дел Коммунистической партии. Его речи, лекции и статьи были направлены на воспитание такого подрастающего поколения, в руки которого можно смело передать эстафету строительства социализма. При этом Луначарский подчеркивал, что вся воспитательная работа должна эффективно воздействовать на молодежь, захватывать ее, волновать, изменять строй ее чувств и мыслей, поднимать на борьбу за победу дела партии.

Нарком просвещения делал все возможное, чтобы образцово наладить общее образование в школе и специальное в техникумах и вузах. При его непосредственном участии был разработан целый комплекс мероприятий по созданию единой трудовой политехнической школы.

Для воспитания всесторонне развитой молодежи Луначарский наряду с другими мерами рекомендовал: сделать театр по-настоящему идейным и приблизить его к массам, широко использовать художественные и документальные фильмы, сделать клуб доступным и привлекательным для юношей и девушек, развернуть массовую физкультурную работу.

Много внимания уделял Анатолий Васильевич вопросам быта молодежи, культурного облика комсомольцев. Он смело выступал и по таким проблемам, как мораль, любовь, дружба, семейные отношения.

В своих лекциях и речах он охотно отвечал на вопросы, волновавшие молодое поколение Страны Советов, не обходил острых углов, проявляя находчивость и остроумие. Вот один из примеров. Как-то во время своего выступления он получил записку: «Скажите, что такое любовь?» Анатолий Васильевич улыбнулся и ответил: «Если эту записку прислал мне очень молодой человек, он, несомненно, еще узнает сам, что такое любовь. Если это написал человек пожилой, моих лет, он, как мне кажется, все-таки еще должен помнить, что такое любовь. А вот, если об этом спрашивает человек среднего возраста, мне его просто от души жаль».

Сейчас, когда отмечается 100-летие со дня рождения А. В. Луначарского, можно смело сказать, что добрые зерна, посеянные им, дали прекрасные всходы: советская молодежь благодаря повседневной заботе партии растет просвещенной, энергичной, боевой. И среди тех, кого она всегда помнит и чтит,— Анатолий Васильевич Луначарский.

Николай ПИЯШЕВ



ВСТРЕЧИ

Владимир
ОГНЕВ

ИЗ ЧЕРНОГОРСКИХ ЗАМЕТОК

Фото автора.

*Когда мы говорим
об интернациональном воспитании
советского молодого человека,
мы вкладываем в эти слова многое:
и уважение к революционным
традициям братских стран,
и знание исторических связей
нашего государства с народами
других земель в прошлом,
и действенную дружбу
и взаимопомощь в настоящем.
В этом номере «Юности» мы публикуем
заметки Владимира Огнева,
в которых нашли отражение
и легендарная русско-черногорская дружба,
насчитывающая несколько веков,
и современные общие проблемы —
борьбы за мир, против фашизма,
в защиту общих идеалов —
прогресса, строительства коммунизма.*

1. Чем различаются воспоминания о войне бывшего начальника генштаба итальянской армии Уго Кавальери и моего друга, партизана Ивановича. И почему в одной песне славятся Пеко Дапчевич и маршал Тимошенко, а в Которском морском музее хранятся «зачетки» русских учеников XVIII века — Куракина, Голицына и других детей дворянских и боярских...

Хозяин «пежо» — Иванович (он так и представляется), полный мужчина с усиками, здоровается за руку и заверяет, что везти русского в Цетинье, древнюю столицу Черногории, для него большая честь. Миро Джурович, поэт и добровольный гид, укладывает чемодан в багажник и говорит мне:

— Поехали, как сказал Гагарин! — и смеется.

Тронулись. Первые же реплики моих попутчиков— и оказывается: они почти знают друг друга. На следующих десяти километрах устанавливаются общие знакомые. Дорога забирает вверх. Выясняется еще одна подробность: наш Иванович не более не менее — чемпион Черногории по авторалли.

Запевает. Миро подтягивает ему красивым тенором. Потом оба ругают черногорские песни.

— Мы не музыкальный народ. Это все чужие песни. Первая — македонская, вторая — сербская.

Но и это говорится с гордостью.

Я дышу полной грудью — какой воздух! Пахнет каким-то особым настоем трав. Дорога петляет, медленно набирая высоту между громадных скал, сужается, входит в подобие скалистого коридора, за ним резко тормозим — впереди идущая машина сигналит и притормаживает. Едем в один ряд. Справа возникает корчма. Обращаю внимание на название — «Царев лаз». И фамилия владельца.

...Корчма полна народу. Садимся за единственный свободный столик. Рядом большая компания черногорцев. Они кончили пить и сейчас хватают друг друга за руки и страшно кричат.

— Ничего,— улыбается Миро,— это так надо. Черногорец не даст заплатить другому. Так они могут кричать часами. Девушка дважды подходила к столу, но борьба за право заплатить только нарастала с новой силой.

Девушка уходит за перегородку. Кто-то включает большой телевизор. Замолкают даже претенденты на оплату общего счета. Включается Мюнхен. Олимпиада.

Мы потягиваем пиво, Иванович — кофе. Прежде чем налить, он делает медной турочкой круговые движения, как колдует. Как вертит баранку. Оказывается, «так и надо пить по-черногорски». Гуща остается на стенках.

На экране женский бег. Мелькают ноги. Нарастает волнение в корчме. Подходит девушка со счетом. Снова вспышка короткой борьбы за престиж. Дрожат руки — сильные, закатанные до локтя, волосатые, напряженные, с сжатыми бумажками... А глаза — в телевизионный экран. Девушка пытается проявить инициативу и просто отнять у ближнего к ней парня деньги, он и сам рад бы разжать кулак, да братья по трапезе не дают. Девушка уходит ни с чем.

Фрагменты из книги «Югославский дневник», которая выходит в издательстве «Советский писатель». Журнальный вариант.





Ближе всех к телевизору сидит старик с седыми усами. Он так комментирует появление на экране нашей русской могучей метательницы ядра:

— Какой же муж у нее?

Старик явно растерян. Качает головой. Ему, черногорцу, никак нельзя представить, что муж может оказаться поменьше, чем «эта сильная баба» с тяжеленным ядром. Мир рушится, и нельзя угадать, откуда придет беда...

К немецким спортсменам отношение такое же благожелательное.

Спрашиваю Миро: осталось ли в народе чувство мести? Нет, говорит он. И не потому, что черногорцы отходчивы. А потому, что новые поколения да и он сам (новое поколение — и немцы и черногорцы) знают обо всем понаслышке, ведь сейчас в мире большинство — люди от 20 до 30 лет!

Удивлен. Как-то никогда не думал об этом.

Если земной шар населен в основном молодежью, то надо во всех вопросах смотреть только вперед, прежде всего вперед! И то, что мы, прошлое поколение, хотим напомнить — наш опыт, наши знания о жизни,— должно быть нацелено в завтрашний день наших детей.

Тогда память наша имеет какой-то смысл.

— А потом,— продолжает Миро,— тут у нас хозяйничали итальянцы. Мы с латинянами почти родственники. И счеты старые и знаем друг друга хорошо. В общем-то народ это добрый. Воевать они не хотели. Особо, по своей инициативе не зверствовали. Но их заставляли...

Я говорю, что читал мемуары Уго Кавальеро, начальника штаба итальянской армии в прошлую войну. Он там приводит слова Муссолини, касающиеся, правда, словенцев, но тем не менее относящиеся вообще к славянам на Балканах: «Мы считали этот район спокойным... После того как начались военные действия с Россией, жители... считающие себя славянами, стали проявлять солидарность с русскими... Я думаю, что пора перейти к решительным действиям. Надо покончить с представлением о мягкости и сентиментальности итальянцев. Югославы никогда не будут относиться к нам хорошо».

— К нему никто хорошо и не относится,— философски изрек Миро.— А итальянцев мы любим.

Борьба за соседним столом вступила, кажется, в решающую фазу. Крик стоял страшный, стол качался. Девушка держала над головой пачку денег, подымаясь на цыпочки и выпятив грудь вперед. Отнимать деньги у нее не стали. Но тот, кто, видимо, проиграл эту схватку за честь, потребовал еще три бутылки вина. Он решил отомстить победителю, как мог...

Пора было ехать. Мы понеслись с ветерком по горной дороге.

— Войну я помню,— сказал Иванович.— Мы выступили сразу, поднялись все — старые и молодые. Сначала одно село, потом другое, жгли костры на горах — далеко было видно...

Уго Кавальеро вспоминает: «14 июля 1941 года... Разговор по телефону с Бироли об инцидентах в Черногории. Спросил у Бироли: «Кто такие эти повстанцы и сколько их?..» (Ну, прямо тебе Наполе-



На снимках:

Улочка в Которе.

Острова в Боке Которской.

Марко Мартинович экзаменует русских учеников. (Картина неизвестного художника). 1711 год.

он по Пушкину: «Черногорцы? Что такое?..» Вл. О.). «15 июля: «Приказал Бироли отправить в Черногорию одну дивизию...»

— Ну, одной дивизией дело не обошлось,— добавляет Иванович.— Жертвы были большие, очень большие. У нас во многих деревнях не осталось мужчин вообще... Сражались и женщины... Во всей Югославии мы потеряли каждого десятого...

Первым прерывает молчание Миро:

— У нас, черногорцев, смерть в бою священна. Об этом род не забывает, из поколения в поколение передается память о герое.

...Известно, что немцы установили в Югославии постоянный процент: за одного убитого оккупанта — 100 заложников. Потом, когда близился час возмездия, эта цифра сокращалась. Но она оставалась на уровне 10 за одного до конца войны... Подсчитано, что если бы сохранилось первоначально установленное количество заложников, то при большом количестве потерь в немецких частях, расположенных в Югославии, население Сербии, например, было бы очень быстро истреблено полностью!

Жена бывшего югославского посла в Москве рассказывала мне, что в их роду (она родом из Черногории) были убиты в боях за свободу прадед, дед, отец, братья отца, ее братья, сама она сражалась в Далмации, была ранена... Похожее положение в семье ее мужа. Как тут не понять кажущуюся хвастливой привычку черногорца перечислять свои колена родословной! Тот же Бранко или Перович скороговоркой сыплют имена предков до пятнадцатого колена: «Перо, Мичо, Миро, Бранко, Сретен, Радован...» и т. д. и т. д.

...Чем выше в горы подымается дорога, тем более суровеет все вокруг. Сосны, изломанные, перекрученные, почти горизонтальные, нависают над дорогой. Кое-где видны обнаженные бурые корни... «Корнем за камень...» Эта строчка Радована Зоговича приходит на память... (Надо будет так назвать антологию черногорской поэзии, которую я составляю для «Прогресса».) Дорога опять спускается вниз. До Скадарского озера она — как ни кружится — пробивается на юго-запад, но вот слева, позади, блеснули голубые воды, закружились горы, опять показались вблизи. Солнце последний раз бросает на них прощальный луч. Выше и выше пошла дорога.

— Вон Риека Црноевича,— показывает Миро.— Плохо видно? Это — знаменитое село. Здесь создана была первая в Европе государственная типография.

Едем дальше. Слева внизу открывается вид на другое село.

— Добрское... Николай I Петрович строил дорогу на Цетинье. Она шла там, ниже, видишь остатки трассы? Но жители заупрямились. Земли здесь плодородные. Это редкость. Сказали: не дадим отнимать землю. Мы ее на горбу таскали. По корзине. По пригоршне. Рассердился Николай: ну, ладно, мол, пожалеете. И велел рубить гору выше. Так дорога прошла мимо Добрского села навеки.

— А теперь?

— И теперь, как видишь, в стороне село. Но люди предпочли быть в стороне от большой дороги... К ним и турки после других добрались...

— Все же добрались?

— А как же!

Долго смотрю на красные черепичные крыши, мечеть, зеленые сады Добрского села. Вечерний туман

заволакивает село. Последней видна головка мечети...

— У этого села свой характер,— говорит Миро.— Тут вообще упрямые люди...

Иванович спрашивает меня, знаю ли я что-нибудь о легендарном Пеко. Пеко Дапчевич. Герой гражданской войны в Испании. В оккупацию о нем ходили рассказы, похожие на сказку...

— Он разоружил сто солдат. В Бельведере! — кричит Миро.

— Пеко — наша гордость. Он тут родился,— добавляет Иванович.— О нем у нас песни поют. Сравнивают его знаешь с кем? С Тимошенко!

...В Цетинье удивительный музей... Поражает количество русских экспонатов. Давняя эта трогательная дружба имеет свою историю. О ней существует огромная литература, и мне незачем блистать тут эрудицией. Кто захочет прочитать об этом, найдет немало книг и описаний.

Но меня с новой стороны удивляла эта страница истории. Как-то удалось прочитать мне сборник исторических документов, в том числе письма черногорских владык к русским царям — от Данилы до последнего, Николая. И что же открывается нам? Никогда не подвергая сомнению искренность и истинность дружбы русского и черногорского народов, многие дальновидные деятели Черногории видели тем не менее и с горечью отмечали и двуличие и политическую игру русского царского двора и его, империей обусловленного, политического поведения.

...Я усмехаюсь про себя: почитали бы эти письма иные наши исследователи из молодых сторонников «единого потока», кто в прошлом России перестает видеть реальный, сложный, социальный организм...

Мы ехали в Котор. Дорога бежала вдоль воды, но это было не море, а так называемая Которска Бока. Что такое Бока? Это что-то вроде залива, губы, фиорда, водной протоки, которая замысловато, наподобие лабиринта, врезается с моря в глубь побережья, петляя меж гор. В Боке всегда тихая вода, но глубина тут немалая. Особенность дороги вдоль Боки Которской в том, что сначала ты видишь городок перед собой, потом он удаляется, казалось бы, навсегда, но совершенно внезапно вырастает перед тобой с другой стороны и опять начинает играть с тобою в прятки. Нигде я не видел такого стереоскопического изображения городов! Дорога выделывает здесь петли, хитроумнее и головоломнее которых и представить трудно. Какой-нибудь Тиват или какое-нибудь там Лепетано возникают сначала на том берегу, а потом ты просто подъезжаешь к ним, незаметно объехав залив... На тихой глади Боки долго маячит перед тобой прекрасная церквушка, словно плывущая на клочке земли, чуть больше ее фундамента... Потом островок поворачивается другой стороной, и ты видишь, что он продолговатой формы, что церковь еще краснее на фоне купы деревьев, но вот островок исчезает за поворотом горы, и долго его нет вообще. Уже с противоположного берега Боки церквушка показывается вновь, но теперь совсем близко, и ты видишь, что островок скалистый и отсюда, с юга, церковь неповторимо освещена на фоне ярко голубеющего залива!..

Мы приехали в Котор. Поставили машину на набережной и пошли в старую крепость, над которой возвышалась, бросая тень, огромная гора. На ее склоне, повернутом к заливу, виднелись развалины крепости. В старом городе было прохладно, узкие улочки привели нас к музею. Это, я думаю, уникальный морской музей. В средневековом домике, стиснутом по фасаду другими домами, потемневшими от времени и морских ветров, на трех этажах разместились экспонаты. С темных портретов смотрят бородатые мореплаватели, капитаны которских судов, на стеллажах макеты — шхуны, турецкие фелюги, барки пиратов, стройные, быстроходные клиперы. Тут же, на полу,— каменные и железные ядра, таинственные жерла медных пушек, цепи, якори в ракушках, фигуры Афины, украшавшие носовые части кораблей, и вдоль стен — кортики, ятаганы, стилеты, кандалы, грамоты вольных городов Дубровника и Котора, рукописи прошлых веков, византийские, венецианские, турецкие, австро-венгерские и русские документы, письма — от Негоша, Петра, Николая — владык черногорских — к наместникам, русскому послу, английскому консулу, турецкому адмиралу... Остановился перед старой картиной. С трудом разобрал надпись: «Русские бояре в 16-м веке учатся по повелению царя Петра Великого мореходному делу у Мартиновича». Конечно, не в 16-м, а в 18-м веке. И не одни бояре, а и дворянские дети. Тем паче, что на картине художник изобразил и «анкетные данные» [1]...

Да, в те времена тут, в Которе, была известная мореходная школа Мартиновича. На картине изображен по одну сторону стола сам Мартинович. По другую — шестеро русских в высоких островерхих шапках, все — внимание... Я стал расспрашивать музейных работников о следах, которые ведут от этой картины к русско-черногорским связям. Русские были в Которе и в 1806 году — почти целый год. Тут стояла русская эскадра. Об этом я знал. А раньше?

Весть о неизвестном письме к Петру Первому не давала покоя. Я нашел человека, который «знал вчерне», как он выразился, содержание письма. Речь идет о письме Змаевича к брату своему, а не к Петру. Значит, это другое письмо? Нет. Это то самое. Мне неверно сказали, что его адресат — русский царь. Но о Петре там рассказано много интересного. Что именно?

Мой спутник Миро Джурович говорит, что это может знать Бранко Баньевич или Стоевич, титоградские мои друзья-писатели.

Из Котора едем на запад. Рисан. Местечко маленькое, прокаленное солнцем. В 1960 году здесь открыт павильон для обозрения редчайших мозаик, обнаруженных еще в 1930 году. Город Рисан — древнее поселение. Греческое название его Ризон, римское — Ризиниум. В конце второго века нашей эры на частной вилле одного из граждан Рисана были созданы превосходные мозаики неизвестного мастера, которыми вымощены четыре до сегодняшнего времени открытых зала. Три из них выполнены в стиле геометрических мотивов, один же представляет собою редчайший в мире и единственный на территории Югославии мозаичный портрет бога сна Гипноза.

Я вошел в павильон с чувством какого-то странного смущения. Мозаичный пол — голубое с белым — простирался передо мной на небольшом возвышении, окаймленном камнем. По широкому бордюру можно было ходить, осматривая рисунок. Он навел меня на размышления о содержании геометрического сюжета. В большом квадрате (он потом повторялся) была вписана окружность, в которую, в свою очередь, концентрическими кругами вписаны другие, меньшего диаметра. От центра к большому кругу расходились тройные волны, в меньших повторялся

[1] Тут упомянуты князья, бояре и прочие царевы слуги: «Борис Иванович Куракин, Яков Иванович Лабан, Петр Голицын, Федор Голицын, Андрей Иванович Репнин, Абрам Федорович, брат царицы московской, Михайло Матушкин» и т. д.

рисунок, который при желании можно было трактовать как радиально расходящиеся солнечные лучи. Между сторонами наружного квадрата и жирной чертой первой, большой окружности помещалось схематическое изображение не то змеящихся водорослей, не то рыб... Когда я сказал об этом своем впечатлении Миро, он недоуменно пожал плечами: фантазия, мол. Но я остался при своем мнении. Неужели нельзя предположить, что геометрический орнамент тоже когда-то вырос из обобщенного изображения реалистических примет мира, окружавшего человека? Море, солнце, растительный мир или фауна Средиземноморья по-своему могли влиять и на фантазию мозаичных дел мастеров прошлого... Что касается Гипноза, он не производил того гипнотического впечатления, которое можно было предположить, зная про уникальный характер этой мозаики. В центре концентрически вымощенного фона возлежал пухлый детина, который облокачивался на руку, наверное, чтобы не помять два крыла, выглядывавших из-за его полноватой спины.

Возвращаясь из павильона, остановился поговорить с чистеньким седым старичком, продающим входные билеты. Здесь, в Рисане, особенно любят русских, говорил он. Старик очень хочет побывать в России.

— Там колокол есть, Царь-колокол!

Вспоминает Ивана Грозного, качает головой. Какие, мол, цари у русских... Один страшнее другого. Отсюда и порядок у русских. Ба-альшая страна! А Царь-колокол стоит еще в Кремле? — Не сняли? — беспокоится старик.— Очень мне хочется Царь-колокол посмотреть. Это не то, что на картинке, ведь правда?

Я обещал старику, что колокол мы не тронем.

Говорим с Миро о стране, национальной гордости, свободе. Он как-то не совсем понимает меня. Разве может такое быть, чтобы любовь к свободе и родине своей не совпадали? Шли иа разных курсах? Он смотрит, прищурившись, на вершину Ловчена и говорит:

— Негош[1] умирал... Понесли его на руках черногорцы вот по тем тропам, через перевал, на Цетинье... Знаешь, какие последние слова он сказал? «Любите Черногорию и свободу»... И закрыли ему глаза.

— Здесь Негош умирал?

— Да, на обратном пути на родину стало ему плохо совсем. Он все торопил друзей, хотел в Цетинье поспеть к смерти... На родину.

2. Старый партизан Лука думает о душе и рассуждает о русской литературе

В «Фонтане» играла музыка. Светящийся ящик странно подрагивал, словно икал. Хриплый женский голос обещал блаженство, которого не бывает. Народу было много. За сдвинутыми столиками сидели бледные иностранцы — мужчины в длинный баках и рыжеватых шкиперских бородках, которые казались приклеенными, женщины, почему-то все очень худые, оголенные, с гремящими, как кастаньеты, браслетами.

К нам подходил, смущено насупившись, коренастый старик. Подошел, погладил усы и протянул, не глядя на меня, узловатую крепкую руку. Я понял, что это мой будущий хозяин.

— Устали? — сказал он.— Отдыхать надо. Такой молодой, а писатель,— почему-то удивился старый Лука, хотя Миро был тоже писатель, а выглядел явно моложе меня. Очевидно, догадался я потом, русский писатель должен был, по мнению старика Луки, выглядеть намного презентабельнее,— ведь он любил русских беззаветно, и всякая подделка тут не котировалась. Но все же я был оттуда. Деваться было некуда.

Вопреки прогнозам Миро, старик вовсе не собирался затевать попойку. Он ласково потрепал меня по рукаву и сказал твердо:

— У меня жена весь день ждет гостя. Ему приготовлена лучшая комната на втором этаже. Там чисто и тихо. Он может писать свои книги у меня, сколько ему понравится.

Миро достал ручку и какой-то бланк и велел Луке подписать его. Старик презрительно отодвинул бумагу и сказал:

— Или ты думаешь, что Лука будет брать деньги с русского?

Он даже поднялся и показался мне много выше, чем раньше. Он стоял, гордо и хмуро смотрел на Миро.

— Ты совсем рехнулся, видно?

Его усадили, успокоили, что денег платить не будут, если он так обижается, и старик сразу же повеселел.

— Разве я каждый день вижу руса? Когда мы воевали, мы видели вас чаще. Мы — братья. Для меня большой день сегодня, большой праздник.

...Кровать была удобной, подушки заботливо взбиты, но луна в окне и разные мысли не давали мне уснуть. Я вышел на балкон. Тучи давно ушли в горы. Под луной красиво блестели листья на дереве, блестела трава, блестела чья-то роскошная машина, напоминающая ракету, блестели крыши, блеск шел откуда-то из-под земли, ночь светилась и благоухала терпкими запахами цветов, смутно белеющих в тени дома. Мне чудились шепотом произнесенные слова, я прислушивался, но шепот этот то повторялся, то смолкал. Нервы были одновременно и напряжены и окутаны этим лунным туманом. Состояние такое, как будто слушаешь музыку — освободиться невозможно, и ты уже другой, не такой, какой был до этого, и, кажется, что-то должно произойти, легкое, загадочное, оставив прошлое в таком же смутном, недосказанном тумане лет...

— Не спишь, рус?

Я вздрогнул. Во дворе сидел мой хозяин и курил трубку. Как я его не заметил!..

— Спускайся, айда, такая ночь!..

Я спустился к старику Луке. Он показал на стул рядом с собой. Стулья стояли под навесом из вьюнка, который едва начал заплетаться вокруг тонкой проволоки. Сквозь него видны были легкие облачка, просвеченные луной. Лицо Луки было в тени. Выколотив трубку, он сказал:

— Иногда становится не по себе. Вот идет себе жизнь, катится под горку. Ты воевал, потом детей растил, потом камень по камню,— он кивнул на дом,— шею гнул, деньги есть, это правда, а все как в дыму, когда листья жжешь осенью... Горько в горле, и глаза что-то ест... Зачем все это,— он развел руками,— если интереса прежнего нет. Говорят, старый ты, Лука, блажишь, мол... Нет, я знаю, что не то... Я еще могу, я еще не старый. Только скучно мне так жить. Днем, знаешь, рус, можно все делать, нужно делать. Хозяйство, конечно, люблю, не буду врать... Только не по мне видно, копить эти динары, когда все уже, кажется, и есть. Я вот книги стал читать, много читаю. Библиотека у меня, рус, можешь посмотреть днем, большая — два ишака не увезут! Русские книжки люблю. Там про совесть пишут. Наши тоже читаю. Думаю. И чем больше читаю, тем больше думаю. Почему я раньше, когда молодой

[1] Великий поэт, просветитель, владыка Черногории (1811—1851).

был, торопился все, да и время, прямо сказать, пе до книжек было. То батрачил, потел, то воевал, кровь лил... А ныне думаю все о сути жизни. Для чего все это...— Лука показал на небо, на край крыши своего дома, на фоиарь, раскачиваемый ветром, на нас с ним поочередно, потом куда-то в темноту, видио, на сарай с добром, которое он нажил на эти проклятые динары свои,— все зто вокруг...

Я заинтересовался мииориым иастроением Луки и готов был услышать еще иемало интересиых признаний, полагая, что зто — только начало исповеди, но жена Луки строго позвала его в дом, и он поспешно откликиулся иа ее зов.

— Да, рус, завтра раио вставать надо, привезут новые двери, надо снять петли старые, потом договориться с шофером о брикетах угля иа зиму, потом...

Лука махнул всердцах рукой и, пожелав мие спокойной ночи, ушел.

3. Чудесные события, связанные с Осман-пашой, который учился в Сен-Сире, внучкой воеводы Милянова, ставшей женой американского архитектора Райта, и письмом далматинца Змаевича к своему брату, в котором он рассказывает, как Петр Великий произвел его в русские адмиралы Измайловы.

Бранко Баиьевич везет меия в горы. Он сидит за рулем и рассказывает о Марко Миляиове. Горский воевода, писатель-самоучка, герой войны с турками, он поссорился с владыкой Черногории Николаем I и поселился на горе Медун. Гора эта зиамеиита тем, что на ией остались последние камни старииной крепости последиего иллирийского царя. Турки разметали, что могли, но циклопические камни крепости, неизвестно как возведеиной в древнюю зпоху иллиров, им были не по силам. Они могли только иадстроить крепость, перекроить ее внешиий облик по-своему. Потом время разрушило и турецкие сооружеиия. А иллирийская основа — фундамент дома Марко Милянова остался. Простоит века, если ничего не случится с Землей нашей в целом...

Милянов оставил книгу, о которой пишут диссертации философы и этики. Называется она «О чойстве и юиацтве». Чойство — слово, трудно поддающееся переводу. В нем — и гуманизм и человечность, как душевное состояиие и духовное иачало вообще. Юнацтво — героизм, мужество, ио тоже на народной основе. Миляиову прииадлежит такое, например, определеиие чойства: «Герой тот, кто защищает человека от другого человека. Человек тот, кто защищает другого от себя». Мысль, достойная раздумий и в 20-м веке. Может быть, особеино в 20-м!

Подъезжаем к дому Миляиова. Останавливаемся прямо иад краем пропасти. Задние колеса машииы упираются в валун. Бранко спокойио выходит из машины и показывает мне окаем — горы, горы, долиив у ног; покатые склоны лесистой горы — с другой стороны. Внизу поодаль — школа, в долиие — несколько домиков крестьяи. Далеко разносится звои колокольцев — стадо пасется у кромки леса. Пахиет дымком.

Дом Милянова одиноко стоит на вершине. Дом крепость.

Входим в музей. Белеиые стены. Вещи Миляиова, портреты, фотографии, оружие, рукописи... К иим — сначала. Обращаю внимание на крупиый каллиграфический почерк. И иа то, что слова почти не разделяются между собой. Но грамотная речь; образно говорит: «Одиночество безобразно, как слепота или мост, по которому все идут мимо».

— Он выучился грамоте только в пятьдесят два года,— улыбается Бранко.— До зтого воевал, некогда было. Эти строки из его стихов.

Читаю еще один стих, вернее, двустишие — о власти и человечиости:

Власть — что булавка на шее,
Гуманность остается и после пепла власти...

Это говорит человек, облеченный по масштабам Черногории большой властью. Он был воеводой целого пламени, «кучей». Миляиов разгромил турецкое войско под Фуидином в 1876 году. Турок было больше в десять раз! Николай I дал бой туркам под Волчьим Долом, а Миляиов — под Фуидином. Турков пало тысяч двенадцать, чериогорцев — всего триста сорок, говорит предаиие. А всего участвовало в бою сорокапятитысячное турецкое войско под командой Махмуд-паши под Фундином (южиый фронт) и Османи-паши и Мухтар-паши — иа севериом, против Николая I. Мухтар-паша пал на Волчьем Доле, судьба же Осман-паши была по-своему удивительиой. О ней стоит рассказать подробнее.

Ои учился военному искусству ие где-иибудь — в Сен-Сире, известной французской военной школе, осиованной в 1808 году, в доме, который был построен еще при Людовике XIV. Кстати, и Николай I закончил Сеи-Сир примерио в те же самые годы. Может быть, этим и объясняется почти детективиый и по-своему романтический поворот сюжета в их отношениях... Осман-паша попал в плен после разгрома турок. Он играл в покер в Цетинье, жил абсолютно свободно. Но однажды пришло сообщение из Турции, что его любимый сын умирает, Николай отпустил Осман-пашу под честиое слово. И паша вернулся, похороиив сына. Николай отпустил его из плена. Осман-паша больше иикогда ие воевал с Черногорией. Романтическая зта, рыцарская легеида подтверждается историческимн документами.

Рассматриваю пробитое пулями знамя черногорцев. На белом — красный квадрат и в ием крест и инициалы: «Н. I» — Николай Первый. Как же оио изрешечено! Вот что, оказывается, означали строки поэта Душана Костича, которые я зиал давно: «Сердце мое произеио болью, как флаг под Фундином...»

Вот котел на веригах, в котором великий старец варил пищу, вот гусли, на которых он играл, подпевая себе в долгие зимние иочи, вот его зиаменитый «белокорац» — пистолет с длииной белой, слоиовой кости, рукояткой...

Бранко рассматривает схему сражеиия, говорит вслух:

— Как иа Сутьеске!

Восторжеино иаходит общий принцип партизанской войны, сам удивляется неожидаиному открытию.

Рассматриваю материалы первой типографии на юге Европы. До 1496 года было выпущеио 8 книг. Здесь были отличные шрифты. Печать в два-три цвета. При Иване Црноевиче (XV век) печатал иекто Макария. Так и иабиралось виизу титульного листа — «Макария от Черногории». Макария уехал в Валахию (бывшую Румыиию), печатал первые киеги и там. Сохраияет память и имя Божидара Вуковича. Сорок лет прожил ои в Веиеции, печатая книги для славяи. Умирая, завещал сыиу, Винченцо, переиести прах его к берегам Скадарского озера, в Чериогорию.

...Всматриваюсь в портреты Марко Миляиова. Красота его мужественна. На портретах он такой же, как

на первых дагерротипах, донесших, к счастью, облик воеводы-философа.

А вот женщина, перепоясанная патронташами, в меховой шапке. Дочь Милянова! Милица Милянова воевала как солдат с турками! Крупная, сильная девушка. Стоит с длинноствольным ружьем в руке, за поясом ятаган, пистолеты... Ну и ну!

Еще больше поражен, рассматривая фотографию рядом... Мария — внучка Марко была, оказывается, женой знаменитого американского архитектора Ллойда Райта, создателя теории «открытого пространства», автора великолепных небоскребов и вилл. Вот чудеса! Но и это не все. Во время балканской войны Мария приехала из Америки, переоделась в черногорский костюм и воевала в рядах соотечественников! Кончилась война, залечила рану, оставила у очага долому с запекшейся кровью, длинный чубук, поцеловала саблю и, всплакнув по-бабьи, стала натягивать на себя тонкие чулки, узкую, длинную по тогдашней моде юбку в серую крупную клетку, надела шляпку и на пароходе греческой компании через Италию, на океанском корабле в каюте-люкс, отправилась к Ллойду Райту, в Америку...

На одном из фото — друг Милянова, Новак Милошевич. Черногорцы это имя помнят. Ему после Фундина русский царь саблю прислал с бриллиантами. Вот она, красавица!.. Новака спросили: «Скольких ты зарубил в бою?» «Я считал до 27,— ответил Новак,— а больше не помню...» Когда умер Новак, над ним пела тужилица. Это плакальщица значит. (Я вспоминаю книгу плачей черногорских — редчайший документ народной сокровищницы искусства — «Поле ядиково. Антология народных черногорских плачей».) Не всякий заслуживал такого эпического отпевания. О Новаке плачи особенно прекрасны.

...Могила владыки Василия в Петербурге. Не каждый знает, вероятно, что похоронен он у нас, рядом с Суворовым.

Умирая, завещал Марко Милянов половину своего дома под музей черногорской славы, а остальную половину — под школу для детей крестьянских, лес же и поле обширное воевода отказал поселянам-соседям. А себя похоронить велел на вершине Медуна...

Идем туда по крутой тропке. Я нет-нет да и хватаюсь за жесткие ветки кизила — страшная высота. Камни из-под ног сыплются вниз, и звук их долго слышен. У ворот ограды не сразу отпираем заржавевший замок, входим в заросший травой дворик. Могила проста — камень с крестом и имя хозяина Медуна... Ветер здесь злой, резкий. Огромная даль... Отсюда даже дом Милянова кажется маленькой коробочкой внизу.

— А там — Ловчен. Там — Негош...

Бранко смотрит, прищурившись, вдаль. Я ничего не вижу. Только слепящие цепи гор, снежные шапки скалистых отрогов.

Спускаемся осторожно. Говорим о свободе, о высоте, о чувстве почти орлином, когда ты знаешь, что опасность может быть только внизу, а здесь — покой и воля... Бранко говорит:

— Негош был однажды в Венеции. В соборе ему протянули для поцелуя золотую цепь от креста. Он ответил: «Черногорцы цепей не целуют!»

Здесь издавна рождались очень смелые и вольнолюбивые люди.

Мы садимся в машину и едем по каменистой, опасной и коварной дороге.

А вот и поляна с вырубкой, за ней котлован, заросший лесом. Бранко говорит, что за той вырубкой и начинается поле брани, где Милянов остановил, а потом загнал турок в ловушку. Тут была страшная сеча. Долго еще потом плуг находил кости на своем пути, скрежетал по железу. В черепах и костях позвоночников до сих пор обнаруживают наконечники стрел



Черногорский поэт Бранко Баньевич.

и копий, пулевые дыры... А леса пошли в рост на этом месте, как сумасшедшие.

На обратном пути в Титоград обращаю внимание Бранко на странную цепочку развалин на головокружительной высоте.

— О, это остатки большой стены. Ты ничего не слышал о ней? Она когда-то разделяла Византию и Рим. Вроде Великой Китайской. Еще кое-где можно видеть ее остатки. Как строили ее? Сам удивляюсь. Ведь она шла через хребты, пропасти разделяли ее, скалы вставали на пути...

Я думаю о том, что люди всегда стремились отгородиться от мира. И что это никогда им не удавалось. Оставались дороги, мосты, но рушились стены и крепости. От крепостей оставались ворота. Разве что ворота...

— Большая протяженность у этой стены?

— Была она от Приморья до Сербии,— отвечает Бранко.

И тут я вспоминаю, что хотел спросить у Бранко о письме, как-то связанном с именем Петра Великого.

— Ах, это действительно любопытное письмо! Жил в Далмации, кажется, в Которе самом, некто Змаевич, мореход. Что-то у него там вышло, он должен был бежать на север. Попал в Карлсбад, нынешние Карловы Вары. До этого он жил некоторое время и в Царьграде. И вот откуда-то с дальнего севера, видимо, с берегов Северного моря, пишет он письмо брату своему после многолетнего молчания о себе. И в письме сообщает, что в Голландии познакомился в таверне с русским гигантом, который за кружкой пива стал его экзаменовать по морскому делу и уговорил ехать с собой в далекую Россию, обещая богатство и славу. И вот Змаевич достиг уже и того и другого... Он — кто бы думал?— и есть тот самый адмирал Измайлов, что бил с флотом русским шведов. А гигантом русским оказался... сам царь Петр!.. Письмо действительно найдено не так давно и не обнародовано, я полагаю, не только в России, но и у нас. Нигде, кроме Черногории. У нас оно напечатано в документах по истории Черногории. Я тебя обязательно с ним познакомлю...

— Всякие, брат, у нас с вами связи были,— продолжал Бранко.— Например, ты знал, что Милорадович, который стрелял в декабристов на Сенатской площади, родом из Херцегнови, где ты только что был?

Конечно, первый раз слышу.

— А ты знаешь, что Врангель, барон тот самый, похоронен в Белграде?

Тоже не знал.

— Видишь, сколько тебе еще знать надо,— смеется Бранко.— С этим белым бароном еще вот что связано. Был такой Душан Василев, юноша, талантливый поэт-революционер. Он написал стихи против белогвардейцев ваших, клеймил Александра Карагеоргиевича, царя нашего, за то, что принял как родных беглых белых. Они тогда, помнишь, из Крыма и Одессы к нам через Грецию бежали...

4. О том, как умирал Антонио Мачадо. Как молодые остаются молодыми. И почему мосты священнее храмов.

Сегодня у нас еще одна поездка с Баньевичем. Он везет меня к Скадарскому озеру. На террасе загородного ресторана, одиноко стоящего на берегу озера, мы совсем одни. Официант приносит обед и уходит. Мы долго любуемся тихим закатом. Место редкое по красоте. Дали неоглядные, до горизонта — камыши. Горы голубеют мягким полукругом далеко-далеко. К ресторану идет насыпь километров пять, не меньше. Кричат дикие голуби. По мелкому озеру ходят пеликаны.

Бранко рассказывает о Черногории и ее сынах удивительные вещи. Он говорит, что знает своих предков с XV века, и, верно, все пятнадцать поколений перечислены. Говорит, что все черногорцы, как это ни покажется парадоксальным, воевали, чтобы не было войны. Что это — качество романтическое. Он говорит, что сейчас начался процесс открытия родины для самих черногорцев. Обнаружено 250 церквей XII—XV веков! Отрыто около 50 городов, в том числе легендарный Оболон иллирийский, о котором высказывались догадки давно и в различных письменных источниках...

Как-то разговор заходит о войне в Испании. Я узнаю, что много черногорцев воевало тогда на стороне республиканцев. Главным образом интеллигенты, те, что учились в Загребе, Белграде, Любляне.

Недавно Бранко путешествовал по югу Франции. Он написал стихи о том времени, ему повезло — он познакомился с людьми, которые прятали беженцев.

— Я приехал в местечко Коллиур, неподалеку от границы с Испанией. Здесь я обнаружил бывшее местонахождение Мачадо, ведь он умер тут в январе 1939 года. Я говорил со старухой, которая видела его и говорила с ним последней... Он был очень гордый, говорила она, он отказался оставить испанцев, своих спутников, и пойти ко мне, я видела — он очень старый, с ним все говорили с большим уважением. Я знала, что это великий поэт. У меня была маленькая гостиница недалеко от лагеря, где держали испанцев. Они жили на земле, грелись у костров. Он сидел, как большая птица, закутанный в старый плед. У него застывали руки. Все умоляли Мачадо идти ко мне в теплый дом, но он не хотел. Я предложила еду, он гордо отказался, хотя был голоден, как все. Он знал, что еды мало, что всем все равно не хватит, но отказался быть и тут исключением... Старуха рассказывала, что люди, переходя границу, говорили, что позади они жгли леса, бросали оружие и плакали. Это были большие несчастные дети. Мне было страшно жаль их. Я им сочувствовала... Так говорила она... В это время, когда мы сидели с ней на террасе ее домика, испанские самолеты все время носились в воздухе недалеко от границы, и я тогда написал стихи... «Звук, как проволока огня, в небе. Возвращаются наши кости из ям смерти и небытия. Звук с головой змеи в небе ползет всю ночь...» Мне казалось, что я вижу все, о чем рассказывает старая француженка, продолжал Бранко. Я видел Мачадо, который все же, уже в бреду, позволил себя перенести в дом этой доброй старухи... Тогда она, впрочем, не была старухой.. Она поила его с ложечки подогретым вином. Он умер на ее коленях... Не знаю, не путает ли француженка, но она говорит, что с Мачадо была его мать. Она умерла якобы через два дня после Мачадо. «Я буду с ним» — последние ее слова... Мачадо умер шестидесяти четырех лет... Может быть, и вправду, мать могла быть с ним?.. Самолеты испанцев летали с Майорки. Это я помню. И звук их слился для меня с рассказом о смерти поэта...

Мы гуляли с Бранко по дороге, обсаженной ивами. В лучах заходящего солнца кони на лугу казались красивыми. Они ржали и, стреноженные, переступали ногами. Пастуха не было видно нигде. Их ели комары, и они резко вскидывали красивые головы.

Вдруг Бранко закричал и остановил меня. На дороге к нам ползла змея. Он схватил палку — сухую ветку, к счастью, лежавшую на дороге, и, не успел я опомниться, как змея с перебитой головой дергалась в агонии... Бранко поддел ее палкой и забросил в озеро.

— Ядовитая? — спросил я.

— Да. Нам повезло. Она быстрая и прыгает. Негош сказал: «Увидишь змею — убей ее»...

— Сколько раз увидишь, столько раз и убей...

— Да, но увидеть ее трудно и один раз.

— Ты молодец...

— Перовичу скажем, что змея была вот такая.— Бранко показывает распахнутые руки.— Он поверит.

— Зачем вы с Милорадом смеетесь над ним? Он очень милый и добрый.

— Мы не смеемся над ним. Он наш друг, но Сретен не знает шуток. И бывает смешным от этого. Потом он очень доверчив...

— Это хорошая и редкая черта,— говорю я серьезно.— Твоя француженка говорила о республиканцах— дети, большие дети... Я думаю, только фашисты никогда не были детьми. Мы воевали с фашистами, не только по возрасту будучи детьми, мы были наивны хорошей наивностью. Все больше, становясь старше, я люблю наивных людей, люблю видеть в человеке веру, свет в глазах...

Бранко иронически улыбался.

Я родился в 1923 году.

Бранко — в 1933-м...

Я не стал объяснять читателю, что мой дневник не бедеккер, не характеристика страны, а история встреч.

Человеческая история встреч. Судеб людей, каждый из которых несет с собою прошлое и будущее.

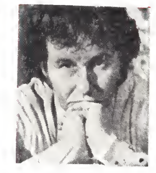
Иво Андрич, один из крупнейших писателей Югославии, сказал о мостах: «Из всего, что воздвигает и строит человек, повинуясь жизненному инстинкту, на мой взгляд, нет ничего лучше и ценнее мостов. Они важнее, чем дома, священнее храмов, ибо они более общие. Они принадлежат всем и каждому, равные со всеми, нужные, воздвигнутые всегда на месте, где сходится максимальное число человеческих нужд, они более долговечны, чем прочие сооружения...»

И нет ничего удивительного в том, добавлю я, что эти символические мосты приводят людей не только друг к другу — к своему прошлому и общему будущему.

●

Владимир Рецептер





✪

Пусть весело тикают наши часы,
еще далеко до плохой полосы
и тысяча верст до разлада,
поэтому плакать не надо.

Удача пока еще в наших руках,
и с первым лучом отодвинется страх,
а если зовет электричка,
что сделаешь,— это привычка.

А новое что-то в ночи началось,
недаром пришел на окраину лось,
стучал по асфальту копытом,
напомнил о чем-то забытом...

✪

Веселым дьяволом вломиться в гости к вам,
веселым дьяволом, совсем не по делам,
смешить до хохота веселой чепухой...
Как жалко все-таки, что я шутник плохой!..

Затеять с вами суету вокруг стола:
тарелки, рюмочки — прекрасные дела!
Стать щедрым, вежливым, изящным
тамадой!..
Как жалко все-таки — уже немолодой!..

Веселым дьяволом с гитарой под рукой
смутить ваш призрачный, наигранный покой.
Прощаться за полночь в прихожей
пять минут,
пускай вас в комнате другие гости ждут...

Веселым дьяволом похитить вас у всех,
чтоб ваш таинственный лишь мне достался
смех!
И по окраине бродяжить до утра,
скрывая разницу — где правда, где игра!..

✪

Присядь на коленки ко мне,
как Саския, вполоборота,
посмотрим, как тихо в окне
плывут облака без расчета

на вечность... И пусть облакам
на миг мы увидимся сами
без муки, с грехом пополам,
сквозь пыль в нераспахнутой раме...

✪

Мне снилось, что не брошено письмо
и не совершены в сердцах поступки,
из-за которых нас топкло, как в ступке;
что зеркало глядит в себя само —

в нем не отражены следы разлома
и нет ни ожиданья, ни тоски;
а мы с тобой, как в юности близки,
без обязательств, денег и без дома...

Улыбка на губах, и невдомек,
что впереди такая переписка,
и двадцать лет в минуту, и так близко
сон, вывернувший время, как чулок...

✪

Оставь меня на крайний случай,
когда судьба тяжелой тучей
взойдет над светлой головой
и будешь знать, что я живой...

Оставь меня на крайний случай,
на самый крайний, неминучий,
на край, на гибельный конец,
и голос твой, как твой гонец,
проникнет в бедные пределы
мои, а воздух поределый
позволит мне дойти, домчать,
чтоб вызволять и выручать...

И я тебя на самый крайний
приберегу и кликну втайне,
и — наяву или во сне —
и ты потянешься ко мне...

✪

Ты заметил, как чайка сварлива,
как ворона картава и зла!
Как мотаются возле залива,
как холеные носят тела!

Как нахальны и как беспардонны!
Как уверены в праве на крик!
Ах, и ты потерпел от вороны!!
К этой чайке и ты не привык!!

Вон одна загорает у лодки,
а другая глядит в небеса...
Да, конечно, конечно, красотки!..
Голоса выдают, голоса...

✪

Памяти Е. М. Грановской.

Актриса пела песни Беранже.
Она была богата и прекрасна,
поклонниками управляла властно:
тот — по душе, а тот — не по душе...

Актриса знала тайны ремесла,
умела быть француженкой, испанкой...
Нет, жизнь не обернулась к ней изнанкой,
но молодость и славу унесла...

Старушка выходила посидеть
на венском стуле в театральный дворик
закутанная, в валенках... И горек,
казалось, день ее: ведь рядом смерть!

Но сколько было мужества в душе,
что, говоря о гибели без боли,
она смеялась, будто в прежней роли,
и напевала песни Беранже...

Александр
ДАНИЛОВ



ИСПЫТАНИЕ



I

Среди боевых товарищей он прослыл чрезвычайно везучим человеком. В батарее о нем говорили, что он родился в рубашке. Слухи о его находчивости и неуязвимости вышли за пределы дивизиона. Эта его репутация особенно окрепла во время штурма Великих Лук, когда две его стодвадцатидвухмиллиметровые гаубицы в течение трех с лишним недель вели огонь прямой наводкой, ни разу не сменив позиции. Бывало, по двум его гаубицам по нескольку часов кряду работало до трех минометных батарей. Был и вовсе редкий случай, когда против двух его гаубиц немцы подтащили на прямую наводку две зенитки, но он сумел одну зенитку подавить, а вторую немцы поспешили оттащить с открытой позиции.

Под огнем он работал исключительно хладнокровно и изобретательно. Когда в дивизии рассказывали о том, что один парень умудрился втащить свою двухтонную гаубицу в церковь и оттуда несколько часов методично уничтожал огневые точки передней линии немецкой обороны, не давая немцам поднять головы,— это совсем уже было похоже на солдатскую легенду. Тем не менее это был, как говорится, голый факт и можно вполне конкретно указать, где именно это было: деревня Шарапово под Великими Луками, которую немцы хорошо укрепили и за которую шли очень тяжелые бои.

Сам он был одержим верой в то, что его не убьют. На войне эта вера молчаливая. О ней не принято говорить вслух. Он сказал однажды и увидел, как смутились бывалые солдаты. Одержимых убивают чаще — это тоже относится к бытовым истинам войны. Он открыто бросил вызов всем богам войны. Именно после этого — осенью сорок второго и в особенности зимой сорок третьего года — последовали затяжные тяжелые бои в районе Великих Лук, большую часть которых он провел на позициях прямой наводки. Боги войны его вызов не приняли: из этих боев он вышел без единой царапины.

Его мина была не та, что попала в двух шагах от него в ровик у Запорожского шоссе в августе сорок первого года. И не та, что разорвала его грудь осколками под Рамушевым весной сорок второго года. И не та, что разбила его гаубицу под Новосокольниками зимой сорок третьего года. Среди сотен мин, которые неделями искали его на открытых позициях, его мины тоже не оказалось. Его мина вообще его не искала. Он нашел ее сам.

Ему надо было присмотреть место для будущего капонира, в котором мог бы стоять тягач-«студебеккер», и он решил в качестве котлована использовать глубокую воронку. Он нашел такую воронку в лесу под Новосокольниками недалеко от позиций батареи. Подумал: повезло. Спустился по заснеженному откосу и стал пробовать лопаткой дно. Раздался сильный взрыв.

Это было 23 марта сорок третьего года.

Наш рассказ — это рассказ о судьбе бойца. И пусть короткая справка о фронтовом прошлом бывшего артиллерийского сержанта Анатолия Покрытана будет прологом к этому рассказу.

II

«Я долго падал. Мне казалось, что я падаю. Но куда я мог падать? Вероятно, меня выбросило из воронки. Я сразу вскочил на ноги и снова, как под Новосокольниками, подумал: «Цел!» Ощупал тело руками — цел! Боли не ощущал. Тут же сообразил, что ничего не вижу. Засорило глаза. Раздвинул веки пальцами — ничего не вижу. Кто-то набросил мне платок на глаза. Кому-то я отдал свой пистолет. Меня взяли под руки и куда-то повели. Платок пах бензином».

Потом — Великие Луки, Калинин, Иваново. В Иванове сделали первую операцию: вставили распорки и иглой выковыривали из роговиц песок, землю, пороховинки. Результата не было.

В конце июля стали прибывать раненые с Курской дуги. Госпиталь быстро переполнялся. «Вас надо выписывать»,— однажды после осмотра сказала ему военврач. «Куда?» «Ну, куда же тебя, родной, выпишешь? Только в дом инвалида...»

Покрытан отказался наотрез.

Снова санитарный поезд. Везли долго. Потом объявили, что поезд прибыл в Иркутск. Покрытан понял, что это его конечный пункт.

Позднее, когда он принял свою новую реальность как неизбежное, он понял, что в первые недели и месяцы после ранения все еще пытался жить по законам человека зрячего. Все, что произошло с ним, считал он, означало лишь, что мир сжался до масштаба огневой позиции. Возле орудия он бы не мог ошибиться. Конечно, командовать огневым взводом ему уже не под силу, но быть заряжающим или подносчиком — вполне. Надо только добраться до батареи.

Он совершил побег из госпиталя. Товарищ по госпиталю проводил его на вокзал и помог проникнуть в вагон. Однако при первой же проверке документов его обнаружили, сняли с поезда, да еще и долго выговаривали за то, что отрывает от дела занятых людей...

Некоторое время он еще не оставлял мысли о второй попытке. Его прежняя жизнь была еще слишком близка. Она сохранялась в привычках и ощущениях, его мышление по-прежнему опиралось на зрительные образы, которые хранила его память.

Однако же его жизнью уже управляли другие законы. Это проявлялось в том, что привычка к действию вытеснялась в нем привычкой к размышлению. Некоторое время он себе в этом отчета не отдавал и не думал о том, что перемена эта качественная. Все его размышления по-прежнему были направлены на обдумывание действия, которое прежде всего имело для него смысл физического перемещения в пространстве. Но однажды он понял, что дело не в тактических просчетах. Дело в том, что он уже не может относить себя к массе людей живущих, работающих, воюющих, читающих, населяющих...

Он понял это не сразу потому, что ни одному здоровому человеку такое не может прийти в голову.

Он понял, что порвана самая прочная связь, соединяющая любого живущего человека с другими, с миром — тем миром, который есть сама жизнь.

Это была настолько простая и горькая истина, что поначалу он не хотел верить в нее. Сначала он постиг это умом, но затем настал неизбежный момент переживаний, и он сразу ощутил разрыв между своим настоящим и прошлым. Он почувствовал, что падает в бездонную пропасть, что даже разбиться ему не суждено — он будет падать всю жизнь. Десятилетиями стареть, четыре раза в год ощущать смену времени, питать себя воспоминаниями двадцати трех прожитых лет и, наконец, дожить до того часа, когда прожитое уже не будет тревожить.

Все рухнуло в один день. Отчаяние сменилось апатией, полнейшим безразличием ко всему и вялостью. Он ушел в это состояние и наполнился им бесцельно. В те дни он ничего не знал о целительном смысле отчаяния, не знал, что подобное состояние может пробудить силу, которая всегда таилась в нем и была ему неведома. И что эта сила обнаруживается замедленно, тяжело и надрывно, и надо оказаться в крайней ситуации, чтобы природа сама бросила на чашу весов твой последний резерв. Крайней ситуацией он привык считать фронт. Для себя — войну с открытых позиций. В той ситуации все сходилось: пока ты был жив — ты был с людьми, а если ты не мог быть с людьми, то и сожалеть уже ни о чем не мог. Мертвые не сожалеют. Других вариантов он в расчет не принимал, во всяком случае для себя не представлял ничего, кроме жизни или смерти, а смерть научился исключать с непостижимым упорством. Но оказалась возможной еще одна ситуация — промежуточная,— о чем он никогда не думал. Он никогда не думал, что можно быть вырванным из жизни и не быть мертвым. И что из этой зоны нет ходу ни вперед, ни назад.

III

Все свои двадцать три года Покрытан определил свою ситуацию как полную неспособность действовать и понял, что долговременное физическое существование в бездействии — раздавит его. Если впоследствии он когда-нибудь говорил, что за время, проведенное в госпиталях, он передумал **все**, то он был абсолютно точен как человек, полностью отдавший себе отчет о своем положении.

Отныне он не мог себя больше питать иллюзорными надеждами и строить планы, которых он не в силах осуществить. Любую мысль, которая несла какое-то утешение, он подвергал сомнениям, чтобы впоследствии не расплачиваться за ошибку. Он себя не торопил. Единственное, чем он располагал в избытке,— это временем.

Он погружался в такие глубины сомнений, откуда, казалось, невозможно выбраться. Такое может себе позволить только тот, кому нечего терять. Такое можно позволить себе неосознанно, но в тысячу раз труднее позволить себе такое сознательно. Он прошел этот потаенный путь. Уже летом сорок третьего года в этом — пока еще стихийно — начала проявляться его воля. В последующие годы ему приходилось укреплять ее, восстанавливать, тренировать и беспрерывно — беспрерывно! — подвергать все новым и новым изощренным испытаниям. Но зато каждый вывод, к которому он приходил, становился частью жизненной программы, пересмотр которой исключался раз и навсегда. Категоричность его формулировок вовсе не была случайной. Он стал собирателем истин, которые, как он считал, имели смысл только для него самого. Пришло решение: «Надо где-то учиться. Чему — не важно. **Важно войти в какой-то процесс**».

Он втягивался в немыслимое соревнование на марафонской дистанции, где от него потребовалось бы втрое, впятеро больше сил, чем от любого подготовленного марафонца. А таким «марафонцем» рядом с ним был каждый здоровый человек.

В иркутском госпитале он услышал, что в Ленинграде, в институте Герцена, вроде бы создана специальная группа, в которой обучают людей, потеряв-



Таким Анатолий Покрытан встретил войну.

них зрение. Проверить это наверняка Покрытан не мог и потому решил посоветоваться с начальником госпиталя.

IV

За два года войны начальник госпиталя повидал уже сотни людей, в жизни которых этот госпиталь играл роль некой поворотной точки. Здесь людей все еще объединяло чувство фронтовой общности, здесь они все еще чувствовали себя солдатами, и многим это помогало на первых порах пережить свою беду. И здесь же происходили молчаливые драмы и трагедии, здесь, наконец, наступала полная ясность — каждый постигал, что такое его реальность, одна-единственная, потому что у каждого она была своя. Этот процесс совершался на глазах, зачастую отодвигая лечебную работу как бы во второй ряд.

Начальник госпиталя слушал сержанта-артиллериста и думал о том, что в каждом подобном случае он никогда не знает, как ему себя вести. Либо сейчас надо поддержать еще одну неистовую надежду — во что сам он ни на минуту не верил,— либо каким-то образом разрушить эту надежду сразу, чтобы потом, когда этот парень окажется бог знает где, его бы не постигло разочарование, с которым человек справиться не в силах. Тут речь шла о пределах человека, конкретно того человека, который пришел к нему за советом. Но откуда он мог знать, где эти пределы? Начальник госпиталя слушал и молчал. А потом, когда сержант закончил, сказал так, будто и не слышал ничего:

— Где расположена четырнадцатая палата, знаешь? Сходи туда, найди Иванова и поговори с ним.

И Покрытан, который не знал никакого Иванова и вообще говорил совсем о другом, с недоумением отправился искать четырнадцатую палату.

Это была самая большая палата в госпитале — коек на тридцать. В ней лежали люди, по собственному выражению Покрытана, «до конца осознавшие, что они такое».

Он нашел палату и остановился в дверях.

— Иванов! Есть тут Иванов?

— Есть,— раздалось из глубины.— Кому я понадобился?

— Мне,— автоматически ответил Покрытан.

«Мне» должно было прозвучать странно, но Иванов не обратил на это внимания.

— Иди сюда,— сказал этот Иванов спокойно.

— Куда «сюда»? — удивился Покрытан.— Я не вижу.

У Покрытана, по свидетельству врачей, левый глаз сохранил один процент зрения, то есть он различал день и ночь. Мог «увидеть» на фоне белой стены человека в черном костюме — точнее, пятно. Впоследствии при ярком солнце приловчился видеть собственную тень и даже пытался использовать это для ориентации. Но в тот день, когда он впервые вошел в четырнадцатую палату, он сам еще не подозревал, до какой степени беспомощен.

Лейтенант Николай Иванов был ранен в Сталинграде осколком немецкой гранаты. Осколок пробил обе височные кости. Миллиметр определил судьбу лейтенанта. Николай остался жив, но начисто лишился глаз. Услышав, что у Покрытана один процент зрения, лейтенант присвистнул:

— Ну, брат, ты же зрячий человек!

И уверенно приказал:

— Будешь у меня поводырем.

Кое-как добравшись до койки Иванова, Покрытан был изумлен, нащупав какие-то бумаги, картон и даже целые книги. Вся койка была завалена этим, и Николай поспешно предупредил:

— Осторожней, а то ты мне так все перемешаешь, что я потом за месяц не разгребу...

— Что это ты делаешь? — удивился Покрытан.

— Читаю!

— Что читаешь?

— Дай руку.

Сначала Покрытан ничего не ощутил на шероховатом картоне, но потом нащупал одну точку, другую — весь лист был испещрен едва осязаемыми точками.

— Я тебе сейчас напишу азбуку. Через два дня придешь ко мне — сдашь,— сказал Николай.

Так Покрытан узнал о существовании точечной системы Брайля.

V

Они решили остаться в Иркутске. Дождались дня, когда в госпитале меняли белье, надели чистые пижамы, тапочки и отправились в пединститут. Покрытан шел впереди и держал Иванова за руку.

Они шли, шли, и Покрытан почувствовал, как промокают тапочки. Обращаться к прохожим, спрашивать дорогу они не решались. Покрытан напряженно размышлял, Иванов молчал и терпеливо ждал. Наконец Покрытан решился и пошел напролом. Тотчас же они оказались по колено в воде — очевидно, лужа попалась необозримая. Николай, не проронив ни слова, по-прежнему терпеливо шел следом.

Тот первый маршрут из госпиталя в институт запомнился Покрытану как самый долгий маршрут в его жизни.

Директор оказался на месте. Поговорили. «Хорошо, ребята,— сказал директор,— хотите учиться — будете

учиться». Им выдали справки о том, что они зачислены на первый курс.

В ту пору в институте учебный год начинался в октябре. Иванов выписался из госпиталя раньше, перебрался в общежитие и «забил» койку для Покрытана. Покрытан в оставшийся месяц усиленно готовился — старался натренировать руку. Диктанты ему «закатывал» сосед по койке Василий Голубицкий. На фронте Голубицкий потерял зрение и обе руки. Покрытан знал, что Голубицкий был сапером, и потому ему ни разу не пришло в голову поинтересоваться, чем Голубицкий занимался до войны. А Голубицкий до войны где-то на Алтае преподавал русский язык. И когда Покрытан вернулся из города и объявил, что отныне он студент пединститута, что-то внезапно изменилось вокруг. Какая-то незримая волна прошла сквозь каждого. Тогда и выяснилось, что изувеченный сапер Вася Голубицкий вовсе не сапер. Не сапер! Вася Голубицкий — учитель русского языка...

Свой первый диктант Покрытан запомнил на всю жизнь. Тишина стояла в палате. Такая тишина, будто не один Покрытан, а все они, кто там был, старательно выдавливали точки на картоне. И в этой тишине слышался лишь голос Васи Голубицкого — негромкий, строгий, внезапно ставший незнакомым голос: «Проказница мартышка, осел, козел да косолапый мишка затеяли сыграть квартет...»

VI

В первые недели их выручала память. Но объем знаний нарастал, как снежный ком, а они вели счет на абзацы. Оба не владели системой Брайля в совершенстве, оба изнемогали от бесплодных попыток угнаться за своими сокурсниками, оба были не в состоянии хоть чем-то помочь друг другу. Покрытан впадал в отчаяние. Коля Иванов, привыкший все проблемы решать одним махом, злился, немилосердно ругал себя и Покрытана, и того неизвестного немца, одного из сотен, которому однажды удалось опередить его, Николая, и бросить гранату на несколько секунд раньше. И вслед за этим он снова принимался за себя и Покрытана...

И Покрытан форсировал развитие памяти. Придумывал всякие упражнения. Память была ему и конспектом, и учебником, и библиотекой. Часто ему казалось, что наступает предел: память не выдерживала нагрузки. Он метался в поисках иных вариантов. Иных вариантов не было.

Накануне своей первой сессии — зимней сессии сорок четвертого года — он почувствовал, что никогда еще не стоял на пороге столь серьезного испытания. Первым экзаменом он сдавал традиционный для гуманитариев курс «Введение в языкознание».

Профессора Коперженского переживания студентов не интересовали. Профессор не обратил никакого внимания на то, что сидящий перед ним студент — Покрытан. Он спрашивал бесконечно долго, наверное, целый час. Э т о б ы л о п р а в и л ь н о, считал Покрытан и за это был благодарен профессору. Но все же пятерка ошеломила его. Он «обкатывал» пятерку Коперженского несколько дней и так и этак, стараясь понять, заслуженная она или нет. Ему нужна была точность оценки, прежде всего точность. Оценка была ему единственным ориентиром. Речь шла даже не о знаниях — речь шла о том, как ему вообще распределить свои силы. Он понимал, что люди не беспристрастны и что профессор вовсе не каменный, а значит, ненамеренно мог накинуть лишний бал. Вообще-то Покрытан не всегда был справедлив к людям, относившимся к нему с сочувствием. Он знал это, но позволял себе быть несправедливым, ибо полагал, что за сочувствием часто кроется жалость, а жалость он возненавидел в тот день, когда впервые в ивановском госпитале услышал сострадательное: «Куда же тебя, родной, выпишешь...» Однако же авторитет профессора был чрезвычайно высок, и Покрытан в конце концов «сбалансировал» пятерку. По этому поводу они с Николаем устроили праздник. Но вскоре произошло событие, которое едва ли не стоило Покрытану всех его побед.

Факультет получил возможность выдвинуть двух студентов на именную стипендию. Сейчас просто бессмысленно говорить о том, чем была именная стипендия для студентов сорок четвертого года. Вопрос решался самым демократическим путем на общефакультетском собрании студентов. По предложению профессора Коперженского, одну из двух стипендий отдали Покрытану.

Назад, в общежитие, Покрытан шел оглушенный. Впервые за полгода их дружбы не он вел Николая в общежитие, а Николай вел его.

Все полетело к черту: и полученная пятерка и месяцы дьяволовой работы. Значит, Коперженский все-таки обратил внимание на то, что сидящий перед ним студент — Покрытан. Значит, он, Покрытан, все-таки обманулся в своем доверии к авторитету профессора. И, значит, все его труды стоят в лучшем случае тройки, а может, и тройки не стоят? Как он сможет это узнать? Как он сможет вообще узнавать, чего стоит его работа, его знания, он сам в конце концов? Он все время думал о том, как относиться к внешнему миру. Но он ни разу не подумал, что внешний мир в с е г д а по-своему будет относиться к нему и что ему в с е г д а придется делать поправки на это встречное отношение к себе...

Николай ликовал. Николай не хотел или не мог понять его и, кажется, впервые не верил ему. Покрытан снова почувствовал подтачивающее его изнутри одиночество. Общая беда сблизила и сдружила их. На этой общности они хотели построить и общую жизнь. Но у таких разных от природы натур не могло быть общей жизни. Да и существует ли она вообще? У каждого человека жизнь своя. В этом отношении неповторимая индивидуальность человеческой личности — наиболее существенный фактор, более существенный, чем общее несчастье.

Николай радовался. Покрытан думал о новом неожиданном препятствии.

Николай расслаблялся. Покрытан сжимался, как пружина: слишком большая дистанция лежала впереди.

VII

После второго курса Покрытан переехал в Одессу и продолжал учиться в Одесском педагогическом институте. В сорок седьмом году он успешно окончил институт и стал устраиваться на работу. В сорок седьмом году он понял, что учитель без зрения — это не учитель. Конкретней — что слепой учитель не нужен.

У него вошло в привычку по вечерам анализировать прожитый день. Понятия зрительной памяти для него не существовало. Прожитое, до мелочей, откладывалось в памяти ощущений. Эта память, на которую работали слух и мозг, была беспощадной — она не знала избирательности, она не знала отдыха, ей не на что было переключиться. Она перемалывала все.

По вечерам он вспоминал людей, с которыми днем вел официальные разговоры.

Официальный разговор потому и официальный, что предполагает короткий контакт с целью обмена направленной информацией. Вряд ли хоть одно должностное лицо из тех, с кем приходилось в те дни

разговарнвать Покрытану, думало о том, сколько сведений о себе оно дает этому человеку. И уж, конечио, ии одному из них ие пришло в голову, что веками отработаииые приемы и методы ведеиия официального разговора не столько скрывают, сколько подчеркивают индивидуальные стороны человеческой иатуры. Никто нз них не подозревал, до какой степени натренировано н обострено восприятие человека, который от порога делал несколько неувереиных шагов к рабочему столу и спокойио задавал свой вопрос, словио заранее зиая, что он услышнт в ответ.

Он сразу ннформировал их своим иеумелым перемещением в мире вещей, позволяя им связать причины и следствия, которые для них были полной информацией о нем. Они сразу предполагали, что знают о нем все — их обманывало зрение! — и потому им оставалось только скрыть свое сочувствие (если оно возникало) и облечь свой вывод в форму вежливого официального отказа. И он, прекрасно понимая примитнвный ход их рассуждений, действительно был заранее готов к отказу, нбо он нмел дело с людьми заурядными, обладающими стандартным восприятнем и стандартным мышлением. Ему надо было наскочить на человека незаурядного, но зто такая редкость!

В конце концов можно было рассчитывать и на обыкновенное сочувствие, которое в каком-то одном человеке вдруг окажется сильнее всех сложившихся в нем чиновничьих стереотипов и заставит того человека поступнть неправнльно, то есть принять Покрытана на работу. В зтом расчете на сочувствие Покрытан видел отход от ранее принятых им жизненных позиций. Отход чисто тактнческий. Тем не менее Покрытан не сразу на зто решился.

Поначалу он пытался доказывать, спорить, ругаться, то есть вел себя так, как и должен вести себя человек, взявший за правило жнть на равных с остальными. Но так как зто ни к чему не приводило, он понял, что на сей раз дело не в нем. Оставалось только рассчнтывать на человеческую слабость, на сочувствне.

...По вечерам он давал себе волю поразмышлять об зтом. Это было отдыхом. На что-то надо было переключиться, чтобы с утра делать очередную попытку.

Каждый вечер, перед тем как лечь спать, он говорил себе то же, что привыкла говорить себе героиня известного романа, которой в жизни выпало больше испытаний, чем может нх выпасть на долю одного человека. Тяготы каждого дня — еслн мысленно представнть их все сразу — могли бы внушить мысль о тщетности всяческих усилий, и поэтому героиня романа каждый вечер произносила одну фразу: «Об зтом я успею подумать завтра». Покрытан ннкогда не читал зтого романа, ничего не знал о той героине, но мысленно придерживался того же правила. В зтом выражалась стихийная фнлософия предела, когда человек живет одним днем, живет в постоянном напряжении всех своих сил н каждую минуту знает, что рассчитывать может только на то, чем он располагает нменно в зту минуту.

Один резерв у него все-таки был. Он не думал о нем почти пять лет. Впрочем, зто нельзя было считать резервом. Это был путь отступлення. После пяти лет борьбы он оставил позиции. Он стал нскать работу в обществе слепых.

Он опять сидел в каком-то кабинете и заполнял анкету. Кажется, в зтой артели делалн булавки.

Впервые его ни о чем не расспрашивали нз вежливости для того, чтобы была видимость разговора, и видимость размышлення, и видимость колебання перед тем, как сказать заранее решенное «нет». Он пришел устраиваться на работу, н ему дали заполнить анкету. Он примкнул к своей общине, от которой так долго отказывался и к которой вернулся, как блудный сын, нзведавший тщету скитаний.

Здесь были свон гении, свои ремесленники н свои неудачники. Здесь была своя система жизненных ценностей, которую он почувствовал сразу.

Он заполнил анкету н двинул ее на другой край стола. Привычно, не особенно вдумываясь в содержание, начальннк отдела кадров пробежал ее взглядом, споткнулся на чем-то, прочитал еще н еще раз.

— У вас высшее образование? — как-то не слишком уверенно спроснл он. Покрытан отметнл зту неуверенность, не совсем поннмая, чем она вызвана.

— Да.

— Высшее образованне...— растерянно пробормотал начальник.

Покрытан возвращался в свою комнату, невесело усмехаясь. «Не можем... С высшим образованием не нмеем права...» «Поймите, у нас будут неприятности...» Понятно, конечно... Не так трудно понять, усмехался Покрытан. Нет, он вовсе не хотел доставлять неприятностн начальнику отдела кадров. Правда, Покрытан ннкогда не знал, что человек с высшим образованием, оказывается, не может делать булавки. Это категорнчески нсключено. Просто невозможно. Лорд может есть нз глиняной посуды. Граф — пахать сохой. Это нх разнузданная прихоть. С зтим покончено. Человек с высшим образованием не может делать булавки, спнчки, карандашн. Он не может быть шофером, кондуктором, почтальоном, токарем, слесарем, служнтелем в зоопарке. Но шофер, кондуктор, почтальон, токарь, слесарь, служитель в зоопарке могут получать высшее образование. Пожалуйста. Туда — да. Обратно — нет. Невозможно...

До поры до времени Покрытан думал, что человека в его стремлениях может ограничить болезнь. Ранение. Сложная житейская ситуация. Смерть, в конце концов. Теперь же к зтому прнбавилось еще высшее образование... Правда, нногда высшее образованне трудно реализовать. А нногда от него ннкому нет ннкакого проку — бывает же, что человек ошибся в выборе профессни н мается только потому, что получнл не тот днплом. Или потому, что вообще получил днплом. А что делать с жизненным опытом, который заранее не приобретешь? А он между тем корректирует жизнь человека, даже получившего высшее образование. Что зто такое?!

Непостижимая логика о несовместимости высшего образования и производства булавок занимала его на всем обратном путн к общежитию. Бог знает отчего нной раз человека может уберечь чувство юмора н бесценная прнвычка находнть удовольствне в размышленнн!

VIII

После неудачной попытки устроиться в общество слепых Покрытан почти не покидал своей комнаты. Он предавался мрачным раздумьям, стал раздражителен, нзбегал друзей. Время шло, он ннчего не мог прндумать и все больше н больше замыкался в себе.

Тому, кто мыслит — надо нзлагать свои мыслн.

Тому, кто пишет — надо печататься.

Тому, кто стал учнтелем — надо растить учеников.

Лишите мыслящего возможностн нзлагать мысли, пишущего — возможности печататься, актера — сцены, учителя — учеников н вы не просто осложните человеку жизнь, вы поставите вопрос о его физическом существовании. Такова роль обратной связи для всего живого в природе. Такова же она и в обществе. Еслн в зтом механизме что-то нарушается, человек попадает в замкнутое состояние, разрушительная сила которого огромна. Развитой тренированность

ванный ум ищет этому состоянию объяснение и не находит его потому, что уже обращен внутрь себя, обращен как раз в тот момент, когда единственное спасение — выход на контакт с внешним миром. Остальное — мысли о бесполезности накапливать знания, о тщетности попыток что-то доказывать кому бы то ни было, даже себе, об эфемерности аргументов...

В тот период Покрытан стал хуже себя чувствовать. Нет более тяжкой и изнурительной нагрузки, чем привычное стремление мыслить, мыслить вообще, без всякой конкретной цели и меры, перемалывать и перемалывать материал жизни, никак не соединяя его, не отбирая и не умея ничем от него заслониться.

Он часто ложился и подолгу лежал, не шевелясь и не меняя позы. Засыпал, но сон его был недолог и неглубок. А когда просыпался, все начиналось заново, с нарастающей силой, и уже сон не давал ему кратких промежутков отдыха. Одна фраза, слышанная им когда-то, долго держалась в его памяти. «Я решительно не могу предположить ситуации, когда умный человек не мог бы найти себе занятия». Эта фраза или другая, очень похожая на эту, занимала его некоторое время. Он пытался вспомнить, кто мог написать это и в какую ситуацию мог попасть человек, сохранивший веру в себя и не пожелавший объяснить эту веру публично. Он пытался сделать эту чужую веру своей и часами думал о том, чем бы еще он мог заняться в жизни, чтобы это занятие могло кормить и все-таки было бы любимым занятием. Но нельзя стать сильным чужой верой. Очень скоро он ее лишился и только острее почувствовал тяжесть своего положения. В таком состоянии его и застала бывшая сокурсница.

— Я слышала, ты ищешь работу,— запросто сказала она, словно не замечая, в каком он настроении.

— Да,— сказал Покрытан.

— Я могу тебе помочь.

— Помоги,— сказал Покрытан.

— В учетно-кредитном техникуме нужен преподаватель политэкономии. У меня полторы ставки. Я могу уступить тебе полставки.

Покрытан улыбнулся. Если б дело было в том, чтобы найти ставку или полставки...

— Ну, вот что,— сказала она,— завтра пойдем к директору разговаривать. Только он не должен знать, что ты не видишь.

Покрытан развел руками. Но она была готова идти к цели напролом. И он, привыкший все делать самостоятельно и сделавший из этого свое жизненное правило, вдруг подчинился ей с неожиданной легкостью, не желая больше думать и рассуждать. И они пошли.

Она разговаривала, а он сидел слегка отвернувшись, с тем отрешенным видом, с каким и должен сидеть молодой специалист, подающий надежды, но еще не слишком уверенный в своих силах. Скромность и сдержанность Покрытана произвели неплохое впечатление. Он был зачислен на полставки в штат сотрудников техникума.

О том, что Покрытан не видит, директор не догадался.

Покрытан понимал, что долго держать в неведении своих коллег и студентов не сможет. Да ему и не надо было держать их в неведении долго. Важно было, чтобы к нему привыкли и перестали смотреть на него, как на человека нового или, что еще хуже, случайного. И, как часто бывает в подобных ситуациях, подвела его мелочь. Пустяк.

Когда его вызвал к себе заведующий учебной частью, он еще не знал, о чем пойдет речь. Но как только вошел в кабинет и почувствовал дыхание заведующего на своем лице, он с тоской подумал, что настала минута неизбежного объяснения.

— Я вот сейчас сознательно сел к вам поближе,— начал заведующий с вызовом,— а... запаха спиртного — не чувствую,— с удивлением закончил он.

Покрытана затрясло от смеха. Он был готов ко всему, но не к такому повороту темы.

Заведующий истолковал реакцию Покрытана по-своему. Обиделся и повысил голос:

— Странно как-то получается... Я видел, как вы не раз пытались выровнять свою... гм... походку... Как вы задели плечом печку и едва устояли на ногах... И это в коридоре, где всегда полно студентов. Может быть, вы объясните мне? Я думаю, что вы выпиваете, но... не чувствую запаха... Так почему же?

Проклятая печка! Когда он впервые зацепил ее, он решил отсчитать шаги, чтобы знать расстояние наверняка. Но в коридоре всегда были люди, и он не стал заниматься этим на глазах у всех. Об этой печке он вспоминал каждый раз, когда толкался в нее плечом — она была окрашена под цвет стен и совершенно для него неразличима. Так почему ж от него не пахнет водкой?

— Я видите ли, не вижу.

— Как? То есть... как не видите?!

— То есть,— раздельно выговаривая слова, отвечал Покрытан,— не вижу я этой проклятой печки, пока не стукнусь о нее!

— Ради бога... извините меня... совершенно не предполагал...

Заведующий был ошеломлен.

— Да,— подтвердил Покрытан.

— Помыслить не мог...

Но именно потому, что теперь заведующий учебной частью знал все, Покрытан первым пошел к директору. Он уже многому был научен.

Его оставили в техникуме. Как преподаватель он уже успел себя зарекомендовать.

IX

Покрытан работал в техникуме и продолжал заниматься трудоустройством: полставки — это всего полставки. В конце концов в своем же педагогическом институте его утвердили ассистентом на кафедре политэкономии, но обстоятельства сложились так, что он сразу начал читать курс лекций для студентов четвертого курса. Впоследствии обком партии дополнительно направил его читать лекции в строительный институт. Экономистов — или, как тогда говорили, «политэкономов» — в ту пору в вузах города не хватало. Таким образом, в очередной раз без его вмешательства свершился выбор его дальнейшей судьбы. Он принял этот путь как окончательный. Он стал экономистом. Сделавшись преподавателем вуза, Покрытан понял, что его багажа знаний ему хватит ненадолго. Перед ним открылся путь, идти по которому можно до бесконечности. И на этом пути сильнейшим был тот, кто в течение жизни успевал пройти дальше других. Это был путь к вершинам профессионального труда, и тут Великий Учитель Брайль уже ничем не мог помочь ему.

X

В Одессе есть Староконный рынок. Там продают всё. Покрытан был на Староконном рынке двадцать пять лет назад. Двадцать пять лет назад Покрытан приобрел на рынке лупу. Лупа была увесистая и, значит, хорошая: по-другому он оценить ее не мог — он поднес ее к своему «зрячему» глазу и ничего не увидел. Но расстаться с ней не захотел, и лупа перекочевала в его комнату.

Как уже говорилось, левый глаз Покрытана сохранял один процент зрения. Покрытан купил лупу после того, как принял решение заставить этот процент работать. Вопрос о том, возможно ли это вообще, Покрытаном не анализировался в силу безусловной праздности такого вопроса.

Вернувшись с рынка, он сел к окну, залитому солнцем, положил перед собой текст, достал лупу и стал постепенно напрягаться. Он не пытался сразу же напрягать зрение. Он напрягал тело, постепенно подводя напряжение к глазным мышцам. И в тот момент, когда глаз заволокло слезой, он успел заметить печатный знак. Как насекомое — мелькнула и тут же пропала буква. Была смыта слезой. Одна-единственная. Он даже не успел увидеть, какая это была буква. Но это была буква, а не пятно: у нее были очертания.

Он долго отдыхал. Он отдыхал как штангист, сделавший неудачную попытку взять рекордный вес.

Со второй попытки он рассмотрел букву. И снова ее размыло слезой. Но он уже успел ее запомнить. Снова отдыхал не менее четверти часа. Ломило все тело, будто он и впрямь работал с тяжестями. Потом он еще раз увидел букву и больше в тот день не работал.

За весь следующий день он прочитал одно предложение.

Когда он одолел несколько десятков страниц, сложив их из букв, он почувствовал, как постепенно погружается в дотоле не известный ему мир подлинного исследования и понял, что теперь в его жизни не будет никакой другой работы и что никакой другой работы ему не надо. Он обрел самую сильную страсть, которую, может быть, можно сравнивать только со страстью жить. Он по-прежнему читал студентам лекции, но теперь это шло привычно, как бы само собой. Освободившись от дел, которые для большинства из нас являются работой, требующей ежедневного напряжения и воспитывающей в нас уважение к себе,— освободившись от этого, он садился за стол и занимался своей работой. Он болел, чувствовал, как истощаются его физические силы, понимал, что в любой день может доработаться до кровоизлияния, но его один процент уже повиновался ему. Остальное было делом его выносливости.

XI

К концу сорок девятого года Покрытан сдал кандидатский минимум по политэкономии. В пятидесятом году при Киевском университете открылся институт повышения квалификации преподавателей вузов. Сейчас в подобных заведениях занятия длятся пять-шесть месяцев. Тогда — год. Институт набирал две группы. Первая — более многочисленная — состояла из тех, кто ставил своей задачей сдачу кандидатского минимума. Второй была группа диссертантов. За год надо было написать диссертацию и защититься.

В то время в Одессе с ее шестнадцатью вузами от силы набралось бы пять-шесть кандидатов экономических наук. Отбор желающих попасть в группу диссертантов проводился жестко. Покрытану не отказали потому, что его настойчивость не могла не импонировать. Через Одесский обком партии его документы были направлены в Киев.

Когда приемная комиссия в Киеве рассматривала документы, поступавшие из разных городов республики, Покрытан лежал в клинике Владимира Петровича Филатова. Это была пятая по счету операция, и делал ее сам Филатов. Перед операцией Владимир Петрович предупредил, что она носит предварительный характер и что только после нее можно будет судить, надо ли делать следующую, то есть есть ли вообще шансы на частичное восстановление зрения. «Вам надо воздержаться от любой работы, утомительной для глаз» — с таким напутствием великого хирурга Покрытан выписался и тут же отбыл в Киев.

Из Киева он вернулся раздосадованный и злой. «У нас люди с отличным зрением из месяца в месяц работают по тринадцать часов в сутки и не могут за год сделать диссертации»,— сказал директор.

Это была реальность. Покрытан не мог бы обвинить директора в черствости. Наоборот. Директор принадлежал к тем деятельным и знающим людям, которые всегда вызывали у Покрытана уважение. Это был культурный, умный человек и, что особенно нравилось в нем Покрытану, человек твердых убеждений. Директор был убежден, что работа в такие жесткие сроки Покрытану не под силу. Покрытан был убежден в обратном, но ничего не смог доказать. А иных способов воздействия на оппонента нет. Иных способов Покрытан и не признавал. Вспомнив, как он вытащил лупу, в которую директор, заинтересовавшись, пытался что-то рассмотреть и, конечно, с непривычки не мог ничего рассмотреть, Покрытан злился на себя за ошибку. Ну, что значила эта лупа для человека, обладающего нормальным зрением? Что значат эти четыре буквы для того, кто безо всякого напряжения сразу может увидеть строку? Пытаясь обосновать свою силу, он только расписался в своей слабости. Мир вещей никогда не может служить аргументом в его пользу. Он давно это усвоил, но именно тогда, когда от разговора с директором так много зависело, он совершил такой промах! В конце концов речь шла об умении Покрытана работать, но ведь этого не выложишь на стол в качестве вещественного доказательства! А все, что знал директор института, строилось как раз на обратном: надо по тринадцать часов в сутки работать глазами. Г л а з а м и. И он, Покрытан, который даже не видел лица собеседника, утверждал, что сможет прочитать тысячи страниц текста (не говоря уж о том, что еще надо и написать кое-что, и это «кое-что» — диссертация!).

И ничего лучшего не придумал, как вытащить лупу...

Конечно, директор должен был смотреть на него, как на фанатика. Как на одержимого маниакальной идеей. Конечно, он должен был думать, что Покрытан не отдает себе отчета в том, чего добивается. Но он, директор, должен отдавать себе отчет в подобных случаях, хотя в такой ситуации ему, вероятно, довольно трудно было настаивать на своем...

Так рассуждал Покрытан, глядя на себя с позиций директора института, и не знал, что можно этому противопоставить. Ничего нельзя противопоставить. Только свою веру. Но его вера — это его вера...

Очень жаль, что утеряна такая возможность... Всего только год, пусть сверхтяжелый, но только год! Этот год нужен был Покрытану еще и как чрезвычайно жесткая ситуация: именно в жестких ситуациях он чувствовал себя уверенно и его работоспособность была безгранична.

Он ходил в институт, читал лекции, вечерами надевал свой самодельный окуляр и вгрызался в текст, физически чувствуя его гранитную плотность, и эта непомерно тяжелая физическая работа помогала ему постигать плотность мысли. Он перестал думать о неудачной поездке в Киев. Время шло, набор пятьдесят первого года в Киевском институте повышения квалификации уже приступил к работе. И вдруг он получает из Киева письмо. Что там могло быть, в этом конверте?

«...решением комиссии...» «зачислены в группу диссертантов...» «предлагается безотлагательно выехать в Киев...» Буквы прыгали, и он никак не мог собрать их в фокусе.

XII

Взяв товарища под руку, Покрытан молча шел по крутому спуску, ощущая под ногами ненадежный подтаявший снег. Работать и впрямь приходилось по тринадцать-четырнадцать часов. Нагрузка была столь велика, что сбросить ее по окончании работы не удавалось. Спал он плохо и каждое утро чувствовал остаточное напряжение минувшего дня. Он и раньше, бывало, взвинчивал себя до последней степени, но всегда мог отключиться на несколько дней — у него был некоторый запас времени. Он отсыпался, отдыхал, проходило несколько дней, и ему не хватало прежней нагрузки. Это означало, что он снова готов к работе. Но здесь, в Киеве, он не мог дать себе несколько дней передышки. Этих дней у него не было. Все было брошено на кон. Редко человек в такой внешне спокойной и тихой ситуации может столько и разом бросить на кон. После нескольких недель беспрерывной работы он позволил себе отложить книги в середине дня. Он отправился с товарищем в бесцельную прогулку, чтобы отключиться на несколько часов, чувствовать только скользкий снег под ногáми, думать о том, чтоб не упасть, и больше ни о чем не думать.

Спуск кончился. «Бессарабка»,— сказал товарищ. Они повернули налево, и Покрытан понял, что они идут по Крещатику. Покрытан не запоминал ничего из того, что товарищ говорил. Он вбирал в себя уличные шумы, ощущая соседство большого города, от которого он наглухо отгородился с первого же дня. Сейчас он впервые не сопротивлялся ощущениям, которые считал полузабытыми или вовсе забытыми. Они словно дождались своего часа и теперь брали его штурмом, как какую-нибудь крепость, много лет простоявшую в осаде. Он прислушивался к тому, что творилось в его душе, с удивлением и растерянностью.

Комбат Дзеба до войны жил в Киеве. Почему это вспомнилось именно теперь — Покрытан не знал. Его товарищ, которого он подбил на прогулку, так и не понял, почему их бесцельное блуждание по городу вдруг обрело направленность, но в желании Покрытана почувствовал неведомый ему смысл и послушно повернул к горсправке. Впервые вспомнив о том, что командир батареи киевлянин, Покрытан так же впервые подумал, что для Дзебы война ведь не кончилась в марте сорок третьего года. Он непроизвольно сбавил шаг, но товарищ уже сказал: «Горсправка» — и Покрытан сам своими незрячими глазами посмотрел в маленькое окошко.

— Дзеба, Григорий Маркович. Тысяча девятьсот восемнадцатый год рождения.

Он думал, что если Дзебы в Киеве нет, значит, его вообще нет.

Через двадцать минут ему дали адрес.

Потом Покрытан услышал шаги за дверью и почувствовал, как перед ним открывается дверь.

— Мне нужен Григорий Маркович Дзеба.

— Дзеба — это я.

«Это ты»,— внезапно успокаиваясь, подумал Покрытан.

— Здравствуй, Гриша.

— Здравствуйте...

Покрытан вздохнул и сделал шаг вперед. Он почти ткнулся лицом в стоящего перед ним человека, пробормотал: «Прости»...— положил руку ему на плечо. Дзеба не отстранился.

— Что же ты, Гриша...— сказал Покрытан и снова вздохнул.— Неужели не помнишь?

— Не припоминаю...



1952 год. А. К. Покрытан. После защиты кандидатской диссертации...

— Но, может быть,— сказал Покрытан,— может, ты помнишь командира взвода, который воевал с открытых позиций?

Едва он сказал «командира взвода», едва он произнес эти два слова, он почувствовал, как под его рукой напряглось плечо комбата. Что-то Дзеба хотел сказать, но воздух комом свернулся у него в груди, и оттого, что он ничего не смог сказать, Покрытан снова обеспокоился и крепче сжал плечо друга — ему показалось, что Дзеба покачнулся.

— Покрытан...

— Да,— сказал Покрытан.

Теперь уже Дзеба держал его и не двигался с места, и так они и стояли в дверях, может быть, минуту, а может, и дольше — Покрытан потерял всякое представление о времени. Потом Покрытан сказал:

— Где у тебя окно? У тебя есть большое окно?

Идти было неудобно потому, что Дзеба по-прежнему не отпускал его. И когда выходил в кухню или в другую комнату, каждый раз говорил: «Ты сиди, сиди здесь»,— и тут же возвращался, словно опасаясь, что Покрытан исчезнет так же неожиданно, как и возник.

Он рассказывал Покрытану, как его искали. Сам командир дивизии искал. Искали долго и безуспешно. Покрытан думал о том, что его нельзя было найти. Ему давно уже казалось, что он превратился в невидимку. Только сам он мог вернуться назад. Это был долгий путь, но он вернулся [1].

XIII

В январе пятьдесят второго года Покрытан вышел на защиту. Директор института вернулся из командировки, когда Покрытан собирался отбывать домой. Покрытан зашел к директору попрощаться. Директор поднялся ему навстречу.

— Слышал. Уже слышал! Очень рад!

— Ну, вот... Теперь наш спор исчерпан,— сказал Покрытан.

— Да-да... Признаться, я сомневался...—И директор крепко пожал ему руку.

Из трех или четырех экономистов, посланных из

[1] Фронтовой друг Покрытана лейтенант сорок третьего года Григорий Дзеба, бывший командир гаубичной батареи 923-го артполка 327-й стрелковой дивизии, умер несколько лет назад — сказались последствия тяжелого ранения.

Одессы год назад в Киев, кандидатом наук стал один Покрытан.

Друзья поздравляли его. Злые языки намекали на его «особое» положение. Люди осторожные пожимали плечами и высказывались в том духе, что чудеса-де иногда бывают, но вообще-то этот Покрытан, конечно, ненормальный...

Все подтверждалось: реакция людей на свершившийся факт уже не может ничего прибавить к этому факту и ничего убавить от факта — в этой реакции проявляется самовыражение человека реагирующего, который перед свершившимся фактом всегда стоит как перед зеркалом.

Покрытан принимал все с радостью и щедростью человека, изведавшего полноту счастья. Только он один и знал до конца, чем был для него этот прожитый в Киеве год. Все же иногда ему было грустно, когда он сталкивался с людьми, изменившими к нему отношение. Он оставался самим собой. Он слишком хорошо знал, что, как бы ни поворачивалась жизнь, надо оставаться самим собой.

XIV

Что было потом?

Если бы вы задали Покрытану такой вопрос, вы бы ждали продолжения рассказа о событиях больших, малых и совсем незначительных и при этом бы испытывали тревожащее чувство. Незатейливый сюжет судьбы рождал бы это чувство: сегодня сюжеты мало занимают нас. Вы почувствовали бы снова, а может быть, впервые тяжесть удовлетворения оттого, что в наш век, беспредельно осложненный искусственными отношениями между людьми, незначительные события могут быть такими значительными, а повторяющиеся, полустертые ощущения — глубокими и острыми, как те, которые мы больше черпаем из старых книг, нежели из своего сегодняшнего бытия. Вы почувствуете, что все остается на своих местах; что ценности, данные человеку природой, самой природой и оберегаются, и что подменить их невозможно ничем.

Собственно, здесь рассказ о человеке, который до конца был верен себе, можно считать законченным. Для очерка биографического содержания, каким является этот абсолютно документальный рассказ, здесь не хватает нескольких заключительных штрихов. Вот они.

После возвращения из Киева Анатолий Карпович Покрытан регулярно ложился в клинику В. П. Филатова и перенес еще несколько операций (начиная с сорок третьего года, на операционный стол он ложился десять раз). Оперировал его ученик и коллега В. П. Филатова, ныне видный специалист в этой области профессор Владимир Евгеньевич Шевалев. Самая результативная операция была сделана в пятьдесят пятом году: Покрытану было возвращено десять процентов зрения. Что такое десять процентов после одного — вероятно, ни один человек с нормальным зрением ощутить не может.

Почти двадцать лет А. К. Покрытан возглавляет кафедру политэкономии — сначала в педагогическом институте, потом — в институте народного хозяйства.

Как и тридцать лет назад, этот человек отличается чрезвычайной работоспособностью. Его работы известны в профессиональных кругах, наиболее крупная из них, посвященная некоторым проблемам политэкономии социализма, вышла отдельной книгой, была переведена за рубежом и получила высокую оценку специалистов.

Эти сведения можно было бы изложить более основательно, если б в этом была цель рассказа. Но ко всему сказанному добавим только один эпизод, в котором оказался свой жизненный сюжет, и сюжет этот был бы слишком плох, если б был придуман...

Десять лет назад Покрытан снова приехал в Киев. На сей раз ему предстояла защита докторской диссертации. Ход защиты был традиционным, но когда оппоненты сказали свое слово, когда были взвешены и оценены достоинства диссертации и, наконец, можно было поздравлять теперь уже доктора экономических наук Покрытана, пришлось несколько отступить от традиций. С некоторым опозданием слова попросил пожилой человек, находившийся в зале, и ему было дано право выступить. Он удивил ученых первой же фразой, заявив, что никогда не был специалистом в области политэкономии, но тем не менее хочет выразить свое отношение к происходящему. И прежде чем собравшиеся успели принять неожиданность такого выступления, Покрытан узнал его. Узнал по голосу.

Говорил генерал, командир дивизии, для которого спустя двадцать лет после войны Покрытан все еще оставался его бойцом. Он говорил о том, что знал он, и чего в этой аудитории, кроме него и Покрытана, не знал никто. Он рассказал историю солдата — историю командира огневого взвода с гаубичной батареи. В аудитории собрались люди вовсе не склонные к бурным проявлениям эмоций, но те аплодисменты, которыми закончилась эта защита, заглушили даже испытанный генеральский бас.

НЕСКОЛЬКО СТРОК ОТ АВТОРА

Необходимо выяснить один существенный вопрос: к чему рассказывать о несбывшихся надеждах, о замыслах, потерпевших крах? Счастливым образом этот вопрос не занял центральное место в судьбе, о которой здесь было рассказано. Поэтому возникла потребность в этих заключительных строках.

Следы каких только жизненных аварий и катастроф не попадаются каждому на его долгом пути! Но с каким бы молчаливым сочувствием мы ни всматривались в обломки, разбросанные по обочинам, наше внимание всегда будет устремлено вслед тому, чей путь обрел желаемое завершение. Есть в этом какая-то неумолимая логика движения самой жизни. Но... эта же логика имеет оборотную сторону.

Мы привыкаем концентрировать внимание только на том, что *уже обрело* желаемое завершение и все меньше смотрим на обочины. Мы начинаем коллекционировать результаты и потому часто не видим, как на наших глазах свершается судьба. Мы *ждем*, чтобы она свершилась. Наше сознание фиксирует личность лишь в момент общественного признания заслуг этой личности. И уже не процесс приводит нас к итогу (процесс ведь может и оборваться!), а итог заставляет нас присматриваться к процессу. Мы начинаем любить кинотеатр, в котором фильмы крутят от последнего кадра. Нам требуется все больше и больше всяческих утешений, и мы заранее знаем, что есть эпилог, потому что усвоили привычку обращаться в сторону свершившегося.

Эти строки вызваны нелюбовью к эпилогам.



Алексей
САМОЙЛОВ

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ САШИ ДИТЯТИНА

Фото
В. ГАЛАКТИОНОВА.

На спартакиадном турнире гимнастов, который проводился у нас в Ленинграде, я был лицом заинтересованным, ибо работал над сценарием документального фильма об Александре Дитятине.

Мой близкий друг и коллега, утонченный знаток гимнастического таинства, не преминул пройтись в своей газете по поводу нашей кинозатеи: «Вот уже и фильм крутят о Дитятине — не рано ли?» Он воткнул эту шпилечку в репортаж, озаглавленный: «Дитятин и его поколение».

Мы заняли свои места в ложе прессы минут за пятнадцать до открытия финальных соревнований мужского многоборья.

— Читал? — спросил мой друг, доставая из кожаного чемоданчика свежий номер своей газеты.

— Читал, читал... Что-то ты напишешь после сегодняшнего вечера, когда Саша станет абсолютным чемпионом Спартакиады?

— Ну, если станет, напишу, что не рано о нем фильм снимать, а в самую пору,— улыбнулся он.

Честно говоря, особой уверенности в том, что Дитятин станет абсолютным чемпионом, у меня не было. Я помнил, как выглядел Саша на одной из недавних тренировок сборной Ленинграда. Тренер его, Анатолий Григорьевич Ярмовский, правда, предупредил меня, что у Саши повреждена кисть левой руки и он пять дней в зале не появлялся — ходил на процедуры, отдыхал и сегодня будет не в лучшем виде...

Саша действительно покрутился немного у зеркальной стены, шлифуя вольные — так, в треть силы, не делая элементы, а лишь обозначая... Потрусил по большому залу.... На перекладине прокрутил несколько оборотов, сгибая ноги в коленях и совсем не заботясь о том, чтобы тянуть носки... И с таким все это делал неудовольствием, с такой кислой физиономией!

Его левая кисть была забинтована. Сказал мне, что побаливает. А Ярмовский заметил обеспокоенно:

— Меньше двух недель до Спартакиады осталось...

На первые роли Дитятин вырвался дерзко и неожиданно. В прошлом году, еще будучи официально лишь кандидатом в мастера, он выиграл Спартакиаду Ленинграда, а в этом году уже стал обладателем Кубка страны и третьим гимнастом Европы. В семнадцать лет! И Воронин, и Клименко, и Андрианов — наши гимнастические звезды последнего десятилетия — вспыхивали позже.

На Спартакиаде СССР от Саши ждали нового взлета. И он действительно лидировал после первых двух дней, а рядом держались Якунин и Кулаксизов — оба из его поколения. Только двукратный абсолютный чемпион Европы Виктор Клименко, представлявший поколение постарше (между ним и Дитятиным восемь лет разницы), «подзатесался» между мальчиками. Виктора, занимавшего вторую позицию, от Саши отделяло 0,675 балла. Немало, конечно, но не безнадежно: достаточно было Дитятину дрогнуть, сорваться, и все бы круто изменилось.

Я допускал, что Саша может сорваться,— тем более, что в этот последний день его тренер буквально за полчаса до выхода гимнастов сказал мне:

— Устал он, очень устал...

Сорвался же Андрианов! Чемпион Европы этого года Николай Андрианов не ангелоподобный отрок, как Саша, а грозный гимнастический муж с бугристыми бицепсами, легкий и взрывной, крутящий сальто в вольных на такой высоте, куда остальным и не силось залетать. Так вот сам Андрианов, наша главная опора, получил «0» при выполнении опорного прыжка в обязательной программе. Андрианов «самоустранился» из борьбы за титул абсолютного чемпиона, накалив и без того стрессовую атмосферу главного гимнастического турнира страны — практически единственного, куда раз в четыре года собираются действительно все сильнейшие.

Участие Андрианова (он доказал это в последующие дни, получая очень высокие оценки) в дележе медалей абсолютного первенства охладило бы пыл остальных: в спорте борьба за второе место не в два, а в десять или в сто раз менее горяча, чем за первое. Теперь вакансия освободилась, и я боялся, что наш юный герой еще наддаст, прибавит, закусив удила, в естественном стремлении оторваться от соперников, и вот тут-то не выдержит, сорвется...

Но тот юноша, который на недавней тренировке был скучен, вял и ко всему безразличен, теперь, на соревнованиях, стал собранным, сосредоточенным и совершенно спокойным, словно и не подозревал о накалившейся после срыва Андрианова обстановке, словно и не чувствовал волевого напора своего преследователя Клименко.

Первая команда, в которую входили и Клименко с Дитятиным, начала с вольных.

Шаровой молнией метался по ковру тугой, налитой силой Паата Шамугия, исторгнувший своим отчаянным тройным пируэтом вопль восхищения болельщиков.

Судьи дали грузинскому гимнасту оценку, которая оказалась лучшей,— 9,3 балла (на этот раз судили не из 10, а из 9,4 балла, и добирать десятые доли балла сверх нормативных надо было включением особо сложных и оригинальных элементов).

Дитятин вышел на ковер после Шамугия. Контраст был велик: грозовое небо разрядилось, выглянуло солнце, побежали перистые облака. Тишь да гладь. Однако не все гладко вышло — не заладилось с пируэтом, два раза в доскок не встал. Уж доскоки у него любо-дорого смотреть: как влитой, приземляется, будто магнитом притянутый,— не шелохнется. Биомеханику доскока поставил ему Ярмовский, как опытный педагог ставит голос начинающему певцу. И вот доскоки, «фирменное блюдо», не выходят. В первом же виде не выходят...

9,15 получил Дитятин, 9,25 — Клименко. Расстояние между ними на шажок сократилось — до 0,575.

Но по коню Саша «ходил», как по Невскому или Летнему саду, без малейшей задержки, без единого сбоя, в безукоризненном ритме, словно прислушиваясь к различаемой только им одним во всем зале музыке. Он заработал 9,5 балла, Клименко — на две десятые меньше.

Кольца и опорный прыжок прошли без особых приключений и практически ничего не изменили: перед двумя завершающими снарядами — брусьями и перекладиной — ленинградец опережал москвича на 0,825 балла.

Вышли на брусья. Ярмовский установил жерди на нужную ширину, подозвал ученика: «Как?» Дитятин примерился: «Нормально». И пошел с помоста, еще раз сказав: «Будет нормально».

Я смотрел на Ярмовского, когда Саша делал комбинацию на брусьях, и, когда дернулся его кадык, понял: что-то случилось, что-то не вышло у Саши. Оказывается, он не вышел в стойку и на большее, чем 8,95, рассчитывать не мог. А Клименко отработал точненько и, взяв 9,3, подобрался к Дитятину значительно ближе. Правда, их разделяло почти полбалла (0,475), но, казалось, юноша «поплыл», а опытный мастер только сейчас по-настоящему вошел во вкус той работы, что не для слабонервных.

Поплыл? Как бы не так! Он крутил на перекладине не просто чисто, а лихо, с вызовом — не точку поставил в конце, а восклицательный знак. И в результате у него лучшая оценка на последнем снаряде, лучшая сумма многоборья и звание абсолютного чемпиона шестой летней Спартакиады народов СССР. Спартакиады, посвященной тридцатилетию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Шесть дней назад на торжественном открытии турнира Александр Дитятин от имени гимнастов страны произнес клятву быть достойными своих отцов, высоко нести знамя Победы.

В пресс-центре Дитятин сидел за столом рядом с Клименко и третьим призером — Федей Кулаксизовым из Днепропетровска — и светился от радости.

— Чем вы недовольны в своем выступлении? — спрашивал мой коллега из Киева.

— На сегодня я всем доволен.

Потом тренеры — Ярмовский и наставник мужской сборной страны Леонид Аркаев — скажут о его слабостях, о том, что надо добавить в некоторые комбинации элементы высшей трудности, усложнить соскоки,— и он будет согласно кивать головой, а улыбка будет по-прежнему блуждать по его лицу.

В гимнастическом строю он стоит всегда на правом фланге: его 173 сантиметра — для гимнаста рост приличный. Еще четыре-пять сантиметров здорово бы осложнили ему гимнастическую карьеру. Глаза его называют в репортажах круглыми, а губы — пухлыми. О губах спорить не берусь, а вот глаза — совсем не круглые. Просто они всегда широко открыты, что придает его лицу выражение некоего постоянного удивления. Одна ироничная девочка, после того как мама, известный тренер по гимнастике, познакомила ее с Сашей, сказала о нем: «Родился, удивился и таким остался». Сказала с высоты своих девятнадцати лет.

Седьмого августа Саша находился в американском городе Миннеаполисе, где вместе с другими ведущими мастерами нашей гимнастики участвовал в показательных выступлениях. И едва он закончил свою программу, диктор объявил, что сегодня ему исполнилось восемнадцать.

— Я даже испугался,— рассказывал мне Саша,—

когда весь зал вдруг встал и запел. Я различал только свое имя: «Александр, Александр»... А американцы пели, оказывается: «С днем рождения тебя, Александр». Это у них такая традиция.

Он хвастался мне ковбойской шляпой, подаренной ему в Штатах, подробно пересказывал поразивший его фильм о гигантской акуле-людоеде, который завершается, впрочем, ко всеобщему удовольствию: погибающий человек в отчаянии швыряет в чудовище баллон с кислородом, потом стреляет, попадает в баллон, и акулу разносит взрывом в куски.

Как все-таки отражается на формировании личности Саши Дитятина столь раннее приобщение к взрослой спортивной жизни и столь быстрый его гимнастический взлет? Ответить на этот вопрос я попросил Зинаиду Алексеевну Новикову — воспитательницу из спортивной школы-интерната на Выборгской стороне, где учился Саша. Сейчас он уже второкурсник института имени Лесгафта, но Зинаида Алексеевна по-прежнему остается близким ему человеком.

— Понимаете, я не очень беспокоюсь,— говорит Новикова,— что Саша зазнается, зарвется, нос задерет,— не такой он парень, не должен. У него душа хорошая. Добрый мальчик, искренний, к другому человеку чуткий, умеет другого слушать, чувствовать — понимаете? — сострадать умеет. Чистая душа. Не должен бы вознестись, залетев высоко, не должен. Но однажды слышу я по радио, как наш Александр выступает, вернувшись из Швейцарии с чемпионата Европы, и говорит между прочим: «Я хотел продемонстрировать на чемпионате Европы все свои лучшие качества...» Какие такие «свои лучшие качества»? Резануло это мой слух, резануло. Самого его я тогда не смогла увидеть, но свое неудовольствие через ребят, его товарищей, передала. Он почувствовал, что к чему, и, возвратившись из Америки, стал у меня допытываться: «Я снова интервью давал в «Спортивном дневнике», слышали? Ну и как? Правда ведь, говорил все нормально?..»

А в завершающем репортаже с гимнастического спартакиадного турнира, принадлежащем моему авторитетному московскому другу, было, кстати, сказано, что снимать фильм о Дитятине не рано, а может быть, в самую пору.



«НАС НЕ ЗАБУДЕТ РУСЬ»



Анатолий Георгиевич Кравцев и Лидия Ивановна Власова, первая учительница Сергея Есенина, живущая ныне в Брянске.

Когда я была маленькой девочкой, коллекционеры вызывали у меня какое-то особое благоговение. Рядом со мной жила юная особа, в изголовье постели которой висели пуанты Лепешинской: юная особа была балетоманкой. Позже я поняла пустоту ее увлечения. Потом я встречала вполне взрослых коллекционеров гобсековского толка, коллекционировали они достаточно профессионально, но только для себя и не слишком бескорыстно. Анатолий Георгиевич Кравцев — маляр из Брянска, уже двадцать семь лет работающий на сталелитейном заводе и много лет собирающий реликвии, связанные с именем Есенина,— вновь вернул меня к детскому благоговению перед коллекционерами.

Поначалу, войдя в квартиру Кравцевых, я удивилась: где же коллекция, о которой написал в редакцию Анатолий Георгиевич? Трудно было поверить, что в небольшом старом шкафу хранится все его богатство: вырезки из газет и журналов, сотни фотографий — известных, малоизвестных и практически неизвестных, письма, автографы, кинопленки, пластинки, рисунки... Кравцев состоит в переписке со знаменитой Шаганэ — Шагане Нерсесовной Тальян, актрисой Августой Леонидовной Миклашевской, которой Есенин посвятил стихи: «Заметался пожар голубой», «Дорогая, сядем рядом...», сестрой Есенина — Александрой Александровной, сыном поэта — Константином.

Почетное место в коллекции занимают книги и статьи с воспоминаниями о поэте, с анализом его творчества, на многих — дарственная надпись Анатолию Георгиевичу. Библиографический справочник трудов о Сергее Есенине упоминает и работу А. Г. Кравцева (об актрисе А. Л. Миклашевской в период ее работы в Брянском театре).

С чего началась эта коллекция, точнее, с чего началась потребность Кравцева коллекционировать? Вопрос этот, должно быть, так же прост и сложен, как один из вечных вопросов — с чего вообще начинается любовь и привязанность.

Анатолий Георгиевич любил Есенина с детства, отец его, старый брянский рабочий, был человеком образованным, имел в доме библиотеку. Анатолий Георгиевич хорошо помнит книгу Есенина в

Константину Симонову—молодому, красивому... 60-летнему— сердечный привет от читателей и редакции «Юности»

Воздвигать себе памятник —
дело нелегкое это.
Я его воздвигал
под разрывы снарядов и мин.
Постаментом я сделал
железное тело лафета
В окружении черных
холодных носов субмарин.
Слух пройдет обо мне,
как солдат на победном
параде,
Впрочем, он бы прошел
без войны, без погон
и петлиц
Ну хотя бы за две —
до и после военных
тетради,
За одну из пяти
недописанных мною страниц.
Если трезво взглянуть,—
мне совсем не нужны
слухи эти:
Чтоб всяк сущий язык на Руси
о тебе громогласно кричал!—
Там начало конца,
где трещат без конца
о поэте.
Там, где искренне любят
поэта,— начало начал,
Почему ж мне так грустно?..
. . . .
Стихи обрывались на этом.
Видно, тот, кто писал,
потерял вдруг к стихам
интерес.
И, поскольку ему
надоело быть только поэтом,
Он давно перешел
К написанью романов и пьес.



Дружеский шарж И. ОФФЕНГЕНДЕНА.

мягкой обложке. Война помешала ему получить образование, и с годами увлечение коллекционированием помогло ощутить истинную сопричастность к искусству.

Свою любовь к искусству А. Г. Кравцев передал сыновьям. Старший его сын недавно окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и стал художником-постановщиком, младший — учится там же.

Страстную любовь к поэзии Есенина Анатолий Георгиевич передал не только своей семье. Он постоянно выступает в школах, домах культуры, клубах. Вот один из отзывов. Преподаватель литературы Р. Пашкова писала в заводской многотиражке: «Более двух часов находились мы в плену интереснейших фактов, событий из жизни поэта, казалось, что мы побывали рядом с Есениным. Нельзя было без волнения слушать рассказ Анатолия Георгиевича о посещении им первой учительницы Сережи Есенина — Лидии Ивановны Власовой».

— Знаете ли вы других собирателей Есенинианы? — спросила я Анатолия Георгиевича.

— Знаю. Один из них — москвич — он недавно умер — совершил просто подвиг. Он «расписал» всю жизнь Есенина по дням...

Когда я совсем уже собралась уходить, Анатолий Георгиевич показал мне посмертную маску Есенина, и в его взгляде ярко вспыхнула трепетная преданность поэту. И я жалею, что не произнесла в тот момент вслух есенинское: «Мы умираем, сходим в тишь и грусть, но знаю я — нас не забудет Русь». Жалею, потому что гостеприимный хозяин дома, скромный человек, профессия которого не имеет никакого отношения к литературе, по-своему помогает сбываться есенинскому пророчеству.

Обладателям ценных коллекций да, видимо, и всем нам небесполезно помнить слова философа: «Для меня нет интереса знать что-либо, хотя бы и самое полезное, если только я один буду это знать. Если бы мне предложили высшую мудрость под непременным условием, чтобы я молчал о ней, я бы отказался».

Галина НИКУЛИНА

ПРОЗА